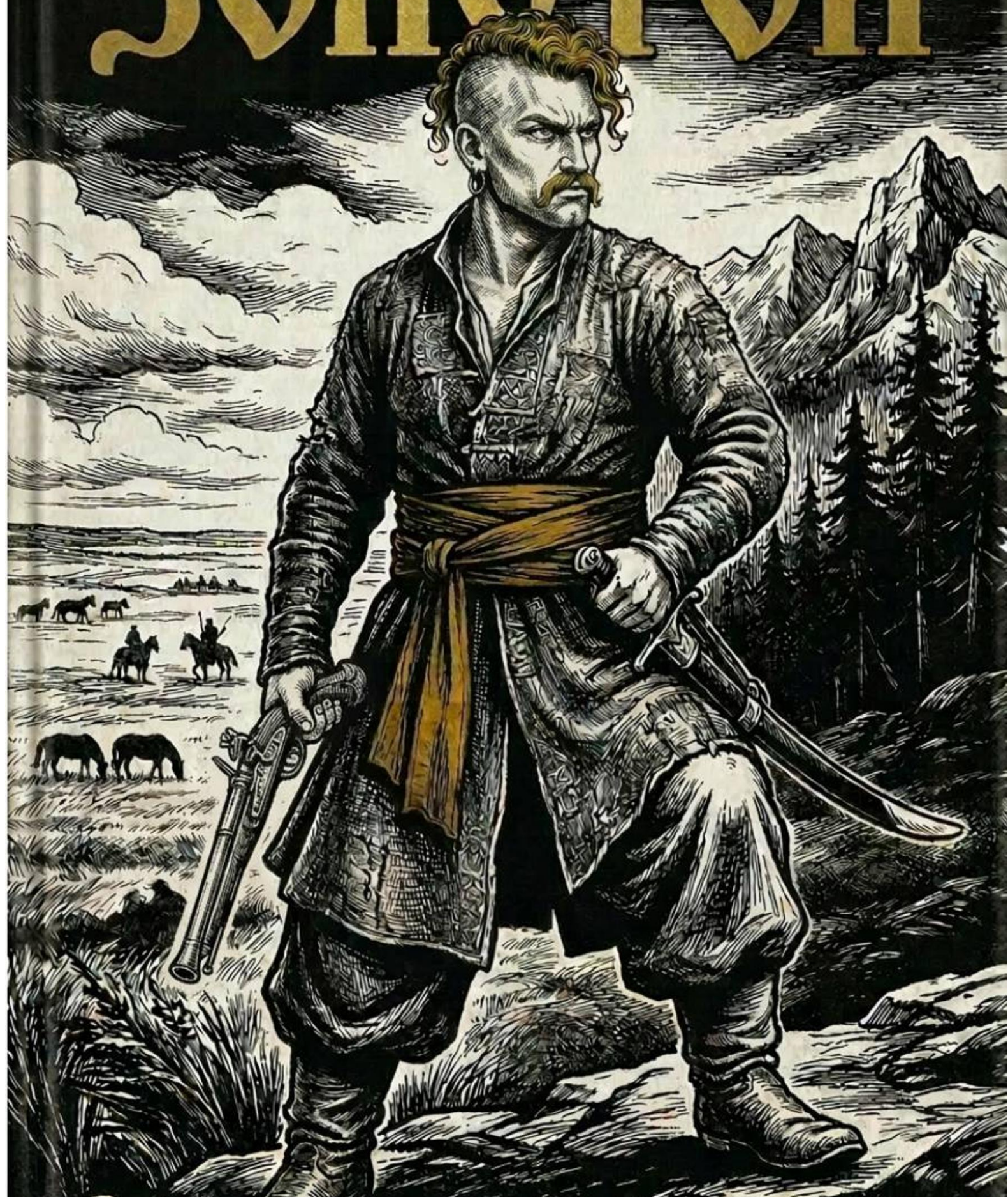


Вадим Беликов

ЗОЛОТОЙ



Вадим Беликов

Золотой

«Автор»

2026

Беликов В.

Золотой / В. Беликов — «Автор», 2026

Дикое поле осталось за спиной. Там Золотой знал каждый овраг, каждый запах, каждый скрип телеги в ночи. Там враг был понятен: ногаец, сабля, стрела. Там удачу приносил жаворонок, а смерть — собственная глупость. Сибирь встретила их тишиной. Не той, что в степи перед грозой. Мёртвой. Лес стоял стеной, и в этой стене кто-то жил. Из земли выходили иные. Из воды смотрели. Из темноты звали по именам. Казаки шли за серебром и мехом. А нашли землю, которая не принимает гостей. Которая переваривает их — одного за другим. Превращает в то, чем полнится здешняя тьма. Золотой больше не верит в удачу. Он верит в саблю, в порох и в то, что мамка ждёт. Он пройдёт эту землю насквозь. Или останется в ней навсегда.

© Беликов В., 2026

© Автор, 2026

Вадим Беликов

Золотой

Глава 1. Золотой

Свет прожигал щёки. Чуб колосился на степном ветру. Земля под гузном сухая, твёрдая. Овраг укрывал отряд молодцов. Атаман лежал и грыз траву, в руке перебирал пищаль. Дюжина других казаков сбились в кучу, шептались между собой, один выдавил смешок и потряс плечами. Атаман повернулся к ним, сгрёб руками камни и бросил в них. Тот замер и пригнул лысину.

Небо висело низкое, сизое, как оловянная ложка. Ветер гнал по балке сухой ковыль — прошлогодний, ломкий, шуршал о голенища. Земля отходила от зимы: сверху корка, внизу хлябь. В ложбинах ещё лежал снег — серый, зернистый, изъеденный туманами. Пахло мокрой глиной, конским навозом и горькой полынью, что уже пробивалась у корней. Где-то далеко граяли грачи — драли глотки над пашнями. Солнце не грело — только било в глаза, застревало в облаках, как щепка в ручье. Влага поднималась от земли и оседала на оружии ржавой испариной.

Атаман лежал на брюхе, опершись на локти. Пищаль положил перед собой — стволом на камень, чтобы не набилась земля. Голова бритая, только чуб — русый, с рыжиной, мокрый от пота, прилип к виску. Лицо молодое, но кожа уже дублёная — ветер и солнце съели юношескую гладкость. Под левым глазом — шрам, не боевой, может, детский. Усы короткие, светлые, почти незаметные. Губы потрескались, на нижней — запёкшаяся кровь.

Одет в кафтан лазоревый, затёртый до белизны на плечах и локтях, подпоясан кушаком. На кушаке — пороховница, нож в ножнах. Порты широкие, суконные, в сапоги заправлены. Сапоги яловые, стоптанные, правый у щиколотки перетянут ремешком — подошва отстаёт. Шапка лежала рядом — высокая, баранья, сваливавшаяся от дождей.

Пальцы у атамана тёрли сухую травинку, потом потянулись за новой, сорвал, сунул в зубы. Желваки играли.

Мужик с серыми, длинными усами подполз к атаману, потянул к нему шею и что-то говорил. Усы мокрые, из-под шапки выбилась прядь — седая. Глаза слезились от ветра. Дышал тяжело, с присвистом.

Атаман кивнул на меня. Старик улыбнулся и пополз ко мне. Мои глаза подкатились, а веки задрожали.

Старик пополз боком, по-рачьи, перебирая локтями и коленями. Сабля волочилась сбоку, чиркала ножнами по камням. По пути задел шапкой сухой куст — шапка съехала на глаза, он поправил, не останавливаясь.

Подкрался к моему уху, вонь изо рта — тухлое мясо.

— Золотой, иди улус осмотри, — захрипел тот.

— Чего это я-то?

— Атаман сказал.

— Пусть Сизый идёт, — я кивнул на парня, который лежал поодаль и чистил саблю.

Сизый водил тряпицей вдоль лезвия — медленно, от пяты к острию. Палец прижимал ткань к стали, на изгибе останавливался, тёр. Потом подышал на клинок и снова прошёлся тряпицей. Глаза прищурены, губа закушена.

— Тебя Характерник зашептал, — продолжил старый казак. Я отодвинулся.

— Он всем сабли заговорил...

Старик скривил лицо, выдохнул.

— На тебя жаворонок насрал. Удачу пометил. Чеши давай, кости отлежишь, ещё молодой.

Я задрал кучерявый чуб и постучал пальцем по серьге.

— Я у мамки один сын, второго такого где взять? Ты родишь?

— Всё шуруй, — цокнул старый.

Атаман глядел на меня, улыбнулся и показал кулак.

«Птица насрала — к удаче. Лишь бы не обосраться самому».

Я глянул на плечо. По серому кафтану белая клякса — жидкая, с крупинкой. Стёр пальцем — размазалось. Вытер о траву.

Два пистолета за пояс сунул — один за кушак спереди, рукоять в рёбра упёрлась, другой за спину, наискось. Проверил — не выпадут. Саблю перекинул через плечо, ремень поперёк груди. Плашмя легла на спину, рукоять у левого уха. Пополз.

Овраг уходил вправо, к балке. Я взял левее — туда, где склон выходил положе и рос прошлогодний бурьян. Трава сухая, жёсткая, но высокая — по грудь. В ней и схоронился. Полз локтями, толкался носками. Земля холодила живот. Пистолеты давили, но терпел.

Выполз на взгорок. За ним — осыпь, камни, куст татарника. За ним и залёг.

Внизу улус.

Кибитки стояли полумесяцем — десятка два, может, три. Войлок серый, бурый, кое-где в заплатках. Дым от костров поднимался тонкими столбами, тут же ложился по земле — тянуло кизяком и варёной бараниной. Меж кибиток бродили овцы — мелкие, курдючные, тыкались мордами в сухую землю. Кони на привязи у крайней кибитки — низкорослые, мохнатые. Седла с них сняты, лежали рядом, потники сохли на ветру.

Мужиков мало. Двое сидели у костра, перебирали сбрую. Один точил нож о камень — мерно, неспешно, будто песню вёл. Ещё один спал у телеги, накрывшись овчиной. Бабы носили воду от ручья — чёрные, согнутые, в долгих платьях. Одна остановилась, поглядела в степь.

Ребятига бегала меж колёс — босые, сопливые. Один кинул палку, другой поймал.

«Собаки не видно. Хорошо. Собака — первый враг».

Справа, за крайней кибиткой, — загон для скота, плетень из тальника. Там же телеги сгружены. Левее — шатёр побольше, над ним бунчук с конским хвостом. Мурза. Там же караульный сидел на кошме, скрестив ноги, копьё поперёк колен.

Большая кибитка за его спиной.

«В кибитке мурзы — серебро. Или баба. Или серебро и баба. Серебро лучше — бабу делить, серебро нет».

Назад полз быстрее. Локти горели, кафтан набряк землёй. Бурьян провожал сухим шорохом — громче, чем хотелось бы. Пистолет спереди съехал, давил в пах, но не поправил — терпел. Склон пошёл вниз, я скатился боком в овраг, поднял пыль. Отплевался.

В низине пахло сыростью. Усы отсырели. Я пригнулся и побежал вдоль русла, перепрыгивая через прошлогодний навоз и конские кости. Где-то сзади, в улусе, скрипнула телега — и стихла.

Казаков увидел по шапкам. Атаман лежал там же, где оставил, только теперь не грыз траву, а крутил в пальцах свинцовую пулю — катал туда-сюда, как чётки. Старик сидел рядом и ковырял ножом под ногтями. Остальные молчали. Сизый спал, положив голову на ножны.

Я упал на колени, отдышался. Атаман поднял глаза.

— Ну?

Голос у него тихий, без хрипа.

— Два десятка кибиток, может, три. Мужиков снаружи мало. Двое у костра, один спит, караульный у шатра мурзы — не дремлет. Кони у крайней, седла сняты. Собаки нет.

Атаман слушал, пуля замерла в пальцах.

— Мурза где?

— Шатёр с бунчуком. Правее загона. Караульный с копьём, глядит в степь. Обходить надо от ручья, там бабы воду носят, тропа натоптана.

— Дозорные по кругу?

— Не видел.

Атаман сунул пулю за щеку, перекатил языком.

— Баб много?

— Троих видел. Может, больше по кибиткам. Ребятя бегает. Овцы.

Старик перестал ковырять ноготь, сплюнул.

— Овцы — это добро. Баранины наварим.

Атаман не ответил. Смотрел на меня.

— Караульный один?

— Один.

— Свалишь?

Я потрогал серьгу. Холодная.

«Свалю. Жаворонок пометил — надо оправдать. Птица зря не гадит».

— Свалю.

— Тогда к утру, — атаман перекатил пулю за другую щеку и улыбнулся. — Отдыхай, Золотой. Птица тебя пометила, тебе и начинать.

Собаки мерзко залаяли в стороне от улуса, затем завyli. Все напряглись. Моё дыхание сбилось, а по ногам пробежала дрожь. Атаман осмотрел молодцов.

— Откуда собаки? — зашептал старый. — Мы их вчера потравили. Спать должны.

— Это не собаки, — атаман посмотрел в сторону. За бугром виднелась спина в чёрном кафтане. — Характерник с ними что-то сделал. Не трава это была сонная.

— Что сделал-то? — спросил я.

— Кто его знает, лучше не лезть.

Солнце зашло за горизонт. Глаза сомкнулись под ветра лай.

Чей-то локоть въехал мне под ребро. Сухой, острый, как колено палки.

— Золотой. Скоро рассвет. Пора.

Я разлепил глаза. Небо над оврагом посерело, звёзды выцвели, осталась одна — самая упрямая, над самым бугром. Роса осела на кафтане, на усах, на железе пистолей. Я провёл ладонью по лицу — мокрое.

Старик сидел на корточках, дышал в кулак, грел пальцы. Глаза красные, слезятся.

— Вставай, мамкин сын. Караульный дремлет, самое время.

Я сел. Спина ныла, в боку кололо — отлежал на пистолете. Сабля съехала с плеча, ремень врезался в шею. Поправил.

Атаман уже стоял у края оврага, смотрел в сторону улуса. Остальные казаки ворочались, крестились, подтягивали пояса. Один зевнул в кулак, перекрестил рот. Другой сплюнул под ноги и растёр сапогом.

Туман лежал по низине — белый, густой, как овечье молоко.

Я поднялся, перекинул саблю со спины на пояс — теперь под руку. Пистолеты проверил: полки сухие, фитили тлели слабым красным. За кушак заткнул нож — на всякий, для ближнего.

Старик усмехнулся, кивнул на бугор.

Я стянул башмаки. Развязал ремешки на щиколотках, взялся за задники, потянул. Левый сошёл туго — намок за ночь, кожа заскорузла. Правый сполз легче. Сунул их под куст, рядом с шапкой. Земля ледяная, пальцы сразу свело, но шаг становился мягким, как у зверя.

Остальные делали то же. Старик скинул сапоги одним движением. Сизый разувался сидя, путался в обмотках, тихо матерился. Ещё один, молодой, с рябым лицом, поставил сапоги голенищами вверх.

Атаман махнул пятерым. Те вышли из оврага первыми. В руках — пищали да самопалы. Один держал ствол на плече, другой нёс поперёк груди, третий на ходу подсыпал порох на

полку — мимо. Фитили тлели, дымок вился над каждым — в тумане не видать. Пошли быстро, пригнувшись, и скрылись за бугром. Туда, где стояли телеги.

Туман держался у земли — по грудь. Ноги утопали в белом, будто по воде ступал. Я двигался по памяти: сперва вдоль ручья, где берег натопан бабами, потом правее, к татарнику, потом вниз по осыпи. Камни под босыми пальцами — холодные, острые.

Караульный сидел на кошме. Голова опущена, копье поперёк колен, пальцы расслаблены. Кострище перед ним прогорело — только угли дышали красным. Рядом миска, пустая. Пахло бараньим жиром и золой.

Я зашёл со спины. Долго, через куст тальника. Ветки разводил руками, не ломая.

Достал нож, облизнул лезвие. Собаки лежали сбоку, три в куче. Смотрели на меня. Я замер. Одна облизнулась, другая погрызла ногу, все наблюдали за мной. Волосы встали дыбом. Отец смотрел на меня так, когда шкодил. Зрачки у них одинаковы. Караульный храпнул, повёл плечом. Я сглотнул и подошёл ещё ближе, стараясь не глазеть на чумных псов. Схватил за рот спящего, тот замычал. Воткнул в шею нож до упора, тот задёргался. Резанул через всю шею, он упал, захлёбывался. Брыкался как конь, пока не стих.

«Нож скользкий. Надо вытереть. О штаны нельзя — мамка шила».

Я прислушался, наконец отпустил. Выронил нож, пальцы скользили от крови. Тряпье своё замазал. Встал на ноги, осмотрелся. Своих не видно. Убрал нож, медленно вынул саблю, намотал на руку ремень.

Поднял оружие вверх. Из тьмы вышли пятеро босых и атаман. Он кивнул в сторону кибитки мурзы. Мы шли между юрт.

— Ай! — молодец у костра поднял грязную пятку, в ней торчала кость.

«Нечай, босой чёрт. Всю жизнь пятки бережёт, а тут на кость напоролся. Степь тебя не простит».

Суета.

Из ближайшей юрты выскочил мужик. Босой, в исподней рубахе до колен, ворот рваный. Плечи широкие, голова бритая, только на макушке клочок — седой, свалявшийся. Штаны не завязаны, придерживал одной рукой. В другой — лук, уже с наложенной стрелой. Глаза сонные, красные, рот раскрыл. Нож воткнулся ему в горло. Тело грохнулось. Атаман подошёл и вынул его из шеи.

Голоса в стороне. Позади выбежали другие, с луками. Тетива затрещала.

Из темноты, от загона, ударили пищали. Грохот, вспышки — пять стволов разом. Дым пополз по земле. Крики. Ногайцы с луками попадали, покатались.

Сизый уже бежал к костру, размахивал саблей. Старик заходил слева, пригнувшись, нож наготове. Атаман махнул рукой — вперёд, на кибитку мурзы.

Мы за ними. Ногайцы вываливались из юрт. Передо мной вылез мужик с копьем, я махнул саблей. Его голова скосилась набок, кровь забилась из дыры. Недорубил. Сталь завязла, заискрилась. Ногаец схватил саблю и размахнулся, я ударил по руке — сабля упала. Он схватился за руку и заорал. Упал на колени. Я замахнулся, решил добить.

Позади крики. Овернулся — трое мужиков бросились с чем попало на меня. Своих не видать, уже у кибитки мурзы.

Пёс выскочил из ниоткуда и с медвежьим рыком впился в горло ногайцу. Двое застыли. Собака рвала его на части. Мышцы твари выпучились, челюсть с лёгкостью рвала плоть. На очарованных бедолаг прыгнула другая псина, крупнее. Снова залп орудий, но дальше.

— Золотой! — кричал Сизый, он зарубил мужика и махнул рукой.

Я побежал к нему.

Улус кипел. Бабы хватали детей и бежали в степь — простоволосые, босые, в одних рубахах. Одна волокла двоих за руки, третий бежал следом, ревел, спотыкался о ковыль. Другая упала, закрыла собой младенца, вжалась в землю. Третья бежала к ручью, прижимая к груди

узел с тряпьем. Дети шныряли между кибитками, как зайцы, — кто в бурьян, кто под телегу, кто просто в поле, куда глаза глядят. Визг стоял такой, что уши закладывало.

Наши уже были у телег. Двое казаков переворачивали сундуки, вытряхивали рухлядь на землю — войлок, шкуры, медную посуду. Третий хватал барана за курдюк, тащил к телеге, баран упирался, блеял. Четвёртый сгрёб мальчишку лет десяти — тот кусался, плевался, казак замотал ему рот тряпкой и кинул на телегу. Девку молодую волокли за косу — она царапалась, выла, пока ей не связали руки.

Старик с перебитым плечом сидел у костра, морщился, но командовал:

— Живо, живо! Добро в телегу, баб на аркан, баранов не бросайте! Скоро рассветёт — уходить надо!

Атаман вышел из шатра мурзы. В одной руке сабля, в другой — бунчук с конским хвостом. Бросил бунчук в костёр. Конский волос вспыхнул, затрещал, повалил чёрный дым.

Добычу волокли наспех, хватали что под руку. Две телеги набили доверху — ногойские, на высоких колёсах, с плетёными бортами. Третью бросили: ось треснула, как грузить начали.

Сундуки кованые, медные уголки блестели — в них серебро: монеты ордынские, московские, пара персидских с дырочкой на шнурок. Там же бабы мониста, серьги с камнями, браслеты — с покойниц снимали, не брезговали. Оружие собирали отдельно. Сабли кривые, ножны тиснёные, луки костяные с тетивой из бычьих жил. Колчаны полные стрел — оперение гусиное, древки лёгкие, ровные. Два копья с гранёными наконечниками, ещё тёплые от рук хозяев. Кольчуга одна, рваная на левом боку, но железо доброе — забрали.

Баранов гнали своим ходом, связали за рога одной верёвкой — голов пять, может, шесть. Овцы метались под ногами, их ловили, кидали на телеги. Две козы, молодая кобыла — низкорослая, мохнатая, с бельмом на левом глазу. Её Сизый под уздцы вывел, привязал к задку телеги.

Съестное хватали мешками: мука грубого помола, сушёная баранина, кожаные бурдюки с кумысом. Один бурдюк продырявили — кумыс тёк по грязному боку, казак ругался, зажимал дыру пальцем. Котёл медный, ещё горячий, с остатками варева на дне — его на телегу, поверх шкур. Миски деревянные, ложки, ножи с костяными рукоятями — всё в мешок.

Бабу молодую кинули поверх сундуков — связанную, рот забит кляпом. Глаза сухие, не моргала. Мальчишку лет семи бросили туда же — он ревел, пока ему не дали затрещину. Девку постарше тащил за косу молодой казак с рваным ухом — она упиралась, он цыкнул, перекинул через плечо и понёс.

Старый казак с перебитым плечом хромал позади, подгонял:

— Барахло не роняйте!

«Домовитые свою долю возьмут. Нам, голытьбе, — что останется. Мне бы серебра горсть да коня этого. Хотя коня тоже отберут — скажут, не по чину».

Атаман шёл последним. Оглянулся на улус. Там уже горело — занялась крайняя кибитка, огонь лизал войлок, трещал, сыпал искрами в серое небо. Дым поднимался столбом — увидит вся степь.

— Ходу, ходу, — бросил он и закинул саблю на плечо.

Телеги закрипели, потянулись в овраг. Босые ноги казаков месили грязь. Впереди темнела балка.

Из балки вышли трое казаков. В поводу вели коней — дюжину, мохнатых, низкорослых, с раскосыми глазами. Ногойская порода: выносливые, злые, привычные к степи. Кони фыркали, прыдали ушами, чуяли дым от горящего улуса.

Каждый брал своего. Сизый вскочил в седло с разбегу, перекинул ногу, поправил саблю. Старик кряхтел, но залез сам — здоровой рукой за луку, больную прижал к груди. Атаман сел молча, шапку надвинул, оглядел отряд.

Я подошёл к своему. Конь гнедой, подпалины на боках, грива жёсткая, в репьях. Храпел, косил глазом — чужой ещё, не обвыкся. Я взялся за холку, почувствовал тепло под ладонью. Конь дёрнул головой, но с места не сошёл. Тогда я поставил ногу в стремя — сыромятное, узкое, — и перекинул тело через круп. Конь переступил, принял вес. Я собрал повод, сжал бока коленями. Конь выдохнул и замер. Хороший. Поняли друг друга.

Характерник сидел на коленях, спиной. Степной орёл летел высоко над нами.

— Подкрепление из улусов будет. Часть награбленного оставить надо. Если жить хочешь, — сказал он.

«Смерть — она за всеми ходит. Но я молодой, быстрый. Пусть за стариками сначала».

— Ну нет уж, добра тут хватает, — усмехнулся атаман.

— Его слушать надо... — шепнул старый казак.

— С пустыми руками не пойду, мы улус давно этот пасём.

— Я сказал, — Характерник поднялся с колен и сел на коня.

Конь под ним был вороной, без отметин, сухой, с длинным крупом и волчьей шеей. Грива стрижена коротко, хвост подвязан ремешком. Сбруя тёмная, без блях, без блеска. Конь стоял недвижно, только ноздри раздувались — красные изнутри, как угли. Характерник тронул повод, и конь пошёл с места в шаг, не дожидаясь пяток. Поскакал вперёд, не оборачиваясь.

— Что делать будем? — спросил я.

— Что скажете? — поднял голос атаман, встал поперёд всех. — Кто за то, чтобы часть добра бросить — поднимите руку, или есть те, кто готов показать ногайцам, как кони в поле скачут?

— Ох уж эти скакуны, — я сплюнул. — Порубим.

«Степняки храбрые, пока стрела на тетиве. Как до сабель дошло — всё, нет их. Бабы с косами и те дольше стоят».

— Нельзя, чтобы побиили нас, даже одного. Я против, — поднял руку Сизый.

— Характерник дело говорит, — старик поднял руку.

Атаман пересчитал пальцами каждого.

— Десять готовы идти в бой, семеро против, — потёр ус атаман. Улыбнулся. — Кто помрёт — сам виноват. Идём с добром дальше. Чуть что — десятка и я в бой, остальные волокут добро.

Глава 2. Характерник

Солнце стояло высоко, но не грело. Ветер пробирал до костей. Небо выцвело, как старый синяк, — ни облака, ни птицы. Только орёл кружил высоко, провожал нас с востока. Ковыль ещё не поднялся — лежал серый, прибитый ночными заморозками. В ложбинах блестела вода — талая, мутная, с ледяной коркой по краям. Пахло сырой землёй и конским потом.

Двигались рысью, не спешили — телеги не давали. Впереди атаман и трое передовых: глаза в степь, пищали поперёк седла. За ними — телеги: две набитые, третья порожняя, её бросили у балки. При телегах — старик с перевязанным плечом, Сизый с подпаленной бородой и двое молодых. Старик правил, остальные глядели по сторонам. Позади телег гнали баранов — связанных за рога, бляющих, спотыкающихся. Кобыла плёлась последней, мотала головой.

Я ехал в середине — там, где арьергард и где меньше пыли. За мной ещё трое: Нечай, уже обутой, правил коня коленями, тёр пятку о стремя. Двое других — молодые, из голытьбы, как и я, — перешёпывались, сплёвывали, смеялись негромко.

Я осмотрел всех по очереди. Атаман — прямо держится, шапка на самых бровях, повод в левой, правая на пищали. Характерник ехал отдельно, шагов на десять впереди, чёрный на вороном — как уголь в серой степи.

Перевёл взгляд на телеги. Сундуки тряслись, соболя лежали сверху, придавленные котлом. Баба наша пленная молчала — так и сидела на сундуке, связанная, глаза в землю. Мальчишка её спал, приткнувшись к ней боком.

«Добра много. Соболя — самое ценное. За шкурку — рубль. Домовитые себе заберут половину, а то и больше. Атаман треть возьмёт. Остальное — на всех. Мне что? Саблю бы мурзову. Она добрая, булатная, с серебром на ножнах. Не дадут — скажут, молодой ещё. Может, коня оставят? Конь гнедой, хорош. Нет, коней домовитые заберут, у них табун — им нужнее».

Я сплюнул сквозь зубы. Ветер подхватил слюну, унёс в ковыль.

«Ладно. Саблю не дадут — возьму серебра горсть. Отвезу мамке. Серьгу куплю новую, с камнем. А остальное пропью с Нечаем в первом же городке».

Сизый обернулся, поймал мой взгляд.

— Чего скалишься, Золотой? Долю считаешь?

— Считаю, — ответил я. — Выходит, что я уже богатый, только пока не знаю чем.

Сизый хмыкнул, отвернулся. Караван полз дальше, в сторону Дона, и пыль за нами вставала столбом — увидит вся степь, если захочет.

— Сизый, а ты что руку поднял? — поравнялся я с ним. — Ты саблей лучше атамана машешь.

— Не наглеи, — фыркнул он.

Он глянул вперёд, где ехал Характерник — чёрный на вороном, на десять шагов впереди. Потрогал обгорелую бровь, поморщился. Подался ко мне ближе.

— Характерник сказал — помрёт кто-то. Ты глухой?

— Мало ли что он там сказал.

— Ты ку-ку? — Сизый постучал себя по голове кулаком. — Ты собак ногойских видел, как они своих порвали?

— Видел, — я нахмурил брови. Перед глазами всплыли эти пасти. Замотал головой.

«Сколько там было зубов?»

— Это он их так, — прошептал Сизый. — Он даже чёрту откуп давал, чтобы тот нас к улусу вывел. По ночам в степь ходил три дня с серебром, а потом сказал, что отведёт к ногойцам.

Телеги встали. Старик натянул вожжи, кони всхрапнули, замерли. Бараны сбились в кучу, блеяли, тыкались мордами друг в друга. Пленная баба подняла голову — впервые за дорогу. Глаза чёрные, пустые.

Атаман поднял руку. Тишина. Только ветер гудел в ушах да кобыла переступала копытами — цок, цок, цок.

Он тронул коня и поехал в сторону, в степь. Характерник — за ним, молча, как тень. Остановились на взгорке. Смотрели на восток.

Я привстал на стременах. Из-за оврага, где мы резали улус, поднималась пыль. Не облаком — стеной. Такую поднимают десятки копыт, когда идут намет.

Ветер дунул с той стороны. Донёс запах: конский пот, кислое молоко, дым костров. И ещё что-то — сладковатое, тяжёлое.

Атаман и Характерник вернулись.

— Кто против был — уходит вперёд, с добром и телегами, — сказал атаман ровно. — Остальные — встречаем гостей.

Сизый выдохнул, перекрестился. Старик слез с телеги, здоровой рукой вытащил саблю. Нечай перестал тереть пятку, замер. Двое молодых переглянулись — глаза круглые, как у баранов.

— Сизый, — я тронул коня, поравнялся с ним. — Беги скорее давай, а то стрелу в гузно получишь.

— Сам беги, — огрызнулся он. — У тебя жаворонок на плече, тебе и бежать.

— Так я ж за то, чтобы порубить. А ты против был.

— Против, — он поправил обгорелую бровь, посмотрел на меня зло. — И что? Добро пусть домовитые везут, а я здесь нужнее. Кто вас прикроет, если не я?

— Ну гляди. Гузно береги.

— За своим следи.

Остальные отделились от отряда. Те, кто поднял руку против боя, погнали телеги вперёд по тракту — на запад, к Дону. Старик остался с нами, хоть и голосовал против. Телеги скрипели, удалялись. Пыль от них смешалась с пылью от ногайцев — две стены, одна уходит, другая идёт на нас.

Из оврага показались они.

Сперва — конские головы, потом всадники. Шли рысью, разворачивались в цепь. Десятка два, может, больше. В малахаях, в стёганных халатах. У половины — луки: кривые, тугие, с наложенными стрелами. У других — копья с гранёными наконечниками, блестели на скупом солнце. Сабли у каждого на поясе, у двоих — щиты, круглые, с железными бляхами. Кони под ними низкорослые, мохнатые, злые — ногайская порода, шли ровно, не сбиваясь.

Впереди — мурза. По бунчуку видать: конский хвост на древке, крашенный в красное. Сам в кольчуге, шлем островерхий, лицо смуглое, глаз не видать — только щель. Ехал шагом, не спешил. Знал — нам не уйти.

— Посмотри, какой важный, — усмехнулся Нечай. — Пузо больше, чем конь, а как хан разъезжает.

— Подстрелю его, увидите, — сказал я с придыханием.

В голове уже всё представил: как беру пищаль, как целюсь в это пузо, в кольчугу, в щель между пластинами. Как он дёргается, хватается за бок, как бунчук падает в пыль.

Сердце зудело.

— Слушай сюда, — атаман поднял голос. — У них луки, у нас — пищали. Значит, бьём так. Четверо с пищальями — вперёд, но не спешиваться. Даёте залп с коней по крайним, сбиваете им строй. Как пальнули — сразу в стороны, освобождаете дорогу. Мы с саблями идём в лоб, клином. Я — в острие. Сизый, Золотой, Нечай — со мной. Остальные — добивать сбитых и держать фланги. Коней не жалеть, рубить под них, топтать упавших. Кто из седла вылетел — тому конец. Мурзу не трогать, мурза мой. Всё.

Мы переглянулись. Десять против двадцати — с пищальями и клином. Нормально.

Я поправил пистолеты за поясом. Сабля уже в руке, ремень намотан на запястье. Конь подо мной переступал, чуял — скоро.

Пищальники выехали вперёд, развернулись в линию. Стволы легли на сошки, притороченные к сёдлам. Фитили тлели. Четверо — против двух десятков. Первый залп — самое важное. Сейчас или никогда.

Ногайцы пошли. Мурза опустил руку — цепь двинулась шагом, потом рысью. Земля загудела. Стрелы уже на тетивах.

— Ждём! — атаман поднял саблю.

Конь подо мной переступал, грыз удила, пена капала на землю. Я гладил его по шее. Ладонь сухая, горячая. В ушах звон, как перед грозой. Казаки выстроились клином: атаман впереди, мы с Сизым по бокам, Нечай за мной, остальные держали фланги. Пищальники замерли в линии, стволы глядели в степь. Фитили тлели красными точками — четыре штуки, как четыре надежды.

Ногайцы шли рысью. Пыль из-под копыт вставала стеной, солнце било сквозь неё — мутное, красное. Уже слышно было, как у них скрипят сёдла, как звенят удила, как кони всхрапывают. Мурза впереди, пузом на лук навалился, щель шлема прямо на нас.

— Я бы на их месте, атаман, сговариваться с нами пошёл, — я потёр усы. — Пусть мурза мне дочь красивейшую предложит, принцессу эдакую. Всех вас продам.

Молодые рвано посмеялись, лица бордовые. Кто-то всхлипнул смехом, кто-то выругался сквозь зубы.

— За принцессу ихнюю, Золотой, тебя первого на кол посадят, — бросил Сизый.

— Зато перед смертью женатым побуду.

Атаман не обернулся, но угол рта дрогнул.

— Кончай базар. Сейчас начнётся.

Я выдохнул. Пальцы на рукояти сжались сами.

«Вот сейчас. Вот сейчас всё и решится. Мурза, твоя дочь плакать будет. А по мне вряд ли».

Пищальники подняли стволы. Атаман поднял саблю. Где-то в ковыле свистел суслик — и смолк.

— Пали!

Четыре ствола рывкнули разом. Дым, огонь, вонь селитры. Двое ногойцев с крайних коней слетели — один молча, другой заорал, зажал бок. Строй их дрогнул, кони шарахнулись. Но мурза взмахнул саблей, и цепь снова двинулась.

— Пошли! — атаман дал коню шенкеля.

Мы сорвались с места. Клин вошёл в их цепь, как нож в брюхо. Я видел только спину атамана и круп его коня. Остальное — краем глаза, вспышками.

Сизый слева рубанул первого — конь под ногойцем взвился, всадник упал, на него наехал Нечай. Хруст. Крик. Дальше.

Мой гнедой врезался в чужого коня грудью. Ногаец передо мной замахивался саблей — кривой, блескучей. Я ударил первым. Не по нему — по коню. Сабля вошла в шею, кровь хлынула на гриву, на мои сапоги. Конь рухнул на передние ноги, всадник полетел через голову. Я развернул гнедого, наехал сверху. Копыто ударило в спину, потом в голову. Хрустнуло. Готов.

Справа вырос ещё один — с копьём, целил мне в бок. Я рванул повод, конь шарахнулся в сторону, копьё прошло мимо, чиркнуло по кафтану. Я схватился за древко, дёрнул на себя. Ногаец не отпустил — его выдернуло из седла, он упал мне под ноги. Гнедой встал на дыбы, ударил копытами. Хруст.

Бой кипел по всей степи. Кони кружили, сталкивались, ржали. Звон железа, крики, выстрелы — второй залп ударил где-то слева. Пороховой дым стлался по земле, смешивался с пылью. Казаки рубились молча, ногойцы — с визгом. Я видел, как атаман прорубался к мурзе — трое уже легли под его саблю. Сизый бился сразу с двумя, отмахивался, как от слепней. Нечай орал что-то босое, махал саблей, с него слетела шапка, лысина блестела на солнце.

Я огляделся. Мурза. Вон он — за спинами своих, отступает, орёт что-то, машет бунчуком. Сзывает.

Я выхватил пистолет из-за пояса. Зубами сорвал крышку с пороховницы. Порох сыпанул на полку — чуть мимо, пальцы дрожали. Прибил пальцем, сдул лишнее. Проверил фитиль — тлеет. Взял курок. Прицелился.

Мурза был шагах в тридцати. Конь под ним плясал, но пузо — вот оно, большое, в кольчуге, цель не промахнёшься. Я прищурился. Выдохнул.

Свист. Слева. Я не успел.

Что-то мелькнуло — тень, железо. Конь подо мной взвился, всхрапнул, шарахнулся вбок, и это спасло. Сабля прошла по плечу, горло сдавило на мгновение судорогой. Полоснула кафтан, кожу, мясо. Боль пришла не сразу — сперва просто огонь, потом кровь, горячая, потекла по руке, по локтю, закапала на седло.

Я выронил пистолет. Обернулся.

Ногаец — молодой, без бороды, рот оскален, глаза бешеные. Уже замахивался второй раз. Я не успевал достать саблю. Просто ударил его локтем в лицо. Хрустнул нос. Он мотнул головой, вцепился в гриву. Тогда я схватил его за ворот халата, рванул на себя и ударил лбом в переносицу. Ещё раз. Он обмяк, выпустил повод, сполз с седла.

Я дышал, как загнанный конь. Плечо горело. Кровь текла по пальцам, капала на гриву гнедого. Пистолет валялся в пыли, затоптанный. Достал крест из осины на груди. Резной.

«Господи Иисусе Христе. Прости меня, болвана, что молюсь тебе редко. Матушка тоже ругает. Сохранил ты меня. Помилуй Золотого».

Я зажал плечо левой рукой. Огляделся. Мурзы уже не было — уходил, уводил остатки цепи. Казаки гнали их к оврагу. Степь была усеяна телами — ногайскими, конскими. Наших — не видать, все в сёдлах.

Атаман проскакал мимо, поднял саблю.

— Добивай и назад! Погони не будет!

Свист. Тонкий — такой ни с чем не спутаешь. Стрела вошла атаману в горло. Прямо под кадык, навывлет. Он захрипел, выронил саблю, схватился за древко обеими руками. Кровь пошла горлом, пузырями, залила бороду. Конь под ним заржал, закружил на месте. Атаман покачнулся и рухнул в пыль.

— Атамана убили! — заорал кто-то.

Я обернулся. Степь. В сотне шагов ногаец в синем халате натягивал вторую стрелу. Целился.

Я рванул повод. Гнедой сорвался с места, пошёл налётом. В ушах свистело. Плечо рвало болью, но я не замечал.

«Стреляй, собака.»

Ногаец увидел меня, развернулся. Целился уже в мою сторону. Я летел прямо на него — не вихлял, не пригибался. Некогда. Он спустил тетиву.

Стрела пропела мимо уха. Горячо, близко.

Я уже был над ним. Конь вздыбил землю, ногаец потянулся за второй стрелой, но не успел. Я рубанул сверху вниз, через плечо, через лук, через рожу его плоскую.

— Сука! — вырвалось из глотки.

Сабля разрубила ключицу, вошла глубоко в грудь. Он упал на спину, раскинув руки. Лук сломанный валялся рядом. Зарядил пищаль чтобы добить, но тот уже не дышал.

Я развернул коня. Сердце колотилось. Плечо горело, кровь снова потекла — рана открылась. Но живой. Живой.

У тела атамана уже спешился Характерник. Стоял на коленях, держал голову атамана в руках. Что-то шептал. Ветер трепал его чёрный кафтан.

Я подскочил к телу. Гнедой всхрипнул, встал. Вокруг атамана уже собрались все, кто остался. Кони дышали тяжело, бока ходили ходуном, в мыле. Казаки стояли над телом, опершись на сабли, кто на коленях, кто просто рухнул наземь. Грудь ходуном, лица серые от пыли и пороха. Нечай вытирал лысину подолом рубахи, тёр.. Сизый хромал, стрела всё ещё торчала из бедра — обломал древко, но вынимать не стал. Дышал через нос, шумно, как запалённый конь. Молодые молчали. Один всхлипывал от усталости.

Атаман лежал на спине. Глаза открыты, смотрели в небо. Стрела в горле — древко серое, оперение чёрное, кровь запеклась вокруг раны. Он пытался вдохнуть — в горле булькало, кровавые пузыри надувались на губах и лопались. Пальцы скребли землю.

Над ним стоял Характерник. Чёрный кафтан до пят, рукава широкие, шитые серебром — но серебро тусклое, серое, как пепел. Пояс низко, на поясе — нож в ножнах, костяная рукоять, тёмная от времени. Сапоги мягкие, без каблука, ступал бесшумно. Лицо узкое, скулы острые, кожа серая, будто не ел и не спал никогда. Борода чёрная, редкая, с проседью у губ. Глаза

светлые, почти белые — ни зрачка не видать, только лёд. Ветер трепал его волосы, а он стоял недвижно, как камень в степи. Смотрел на атамана. Ждал.

— Спасёшь? — спросил Сизый. Голос хриплый, сорванный.

Характерник не обернулся.

— А вы хотите?

— Конечно, это же атаман наш! — крикнул молодой казак, тот, что всхлипывал. Лицо красное, глаза мокрые. — Мы за него жизнь отдадим!

Характерник повернул голову — медленно, как сова. Посмотрел на молодого. На его красное лицо, на мокрые глаза.

— Как скажешь.

Он опустился над атаманом. Прислонил свой лоб к его. Зашептал — слов не разобрать, только звук: сухой, как ветер в ковыле. Потом поднял руку, показал нам — прочь.

Ветер подул резко. Тучи затянули небо, солнце померкло, стало серо, как в сумерках. Кони заржали, запрядали ушами.

Характерник взялся за древко. Вынул стрелу — одним движением, без рывка. Кровь не пошла. Он снял с себя верхнее одеяние — чёрное, тяжёлое, шитое серебром — и накрыл тело атамана. Ткань легла, как саван.

Потом он подошёл к молодому казаку. Тот стоял, открыв рот, глаза круглые. Характерник достал нож — костяная рукоять, лезвие узкое, матовое, без блеска. Движение — короткое, точное. Нож вошёл молодому в горло. Прямо в кадык. Точно туда, где у атамана торчала стрела.

Молодой захрипел. Захлебался. Упал на колени, схватился за горло, из-под пальцев хлынула кровь.

— Ты что творишь!

По телу будто удар. Голову заложило. Я выхватил пистолет — тот, что из-за спины, ещё заряженный. Взял курок. Нацелился Характернику промеж бровей.

Он видел. Смотрел на меня бесцветными глазами. Не шелохнулся.

— Золотой! — Сизый бросился ко мне, но не успел.

Я нажал на курок.

Щелчок. Фитиль клюнул полку — порох вспыхнул, пшикнул белым дымком, но ствол молчал. Осечка. Запал сторел, а заряду не передал — порох в затравке отсырел, или просто не дошла искра. Полка пустая, в стволе тишина.

Я стоял, держал пистолет на весу. Палец ещё давил на курок, хотя уже нечего было жать. Дымок от полки таял над стволом.

Характерник моргнул. Медленно, как ящерица. И пошёл ко мне. Не спеша. Мимо пистолета, мимо меня — к телу атамана.

Он наклонился, взял край своего одеяния и снял его с тела. Ткань соскользнула, упала в пыль.

Атаман открыл глаза. Вдохнул — глубоко, тяжело, грудью, будто вынырнул из воды. Сел. Держался за горло. Пальцы шарили по коже — ни царапины. Ни крови. Ни дыры. Только белый шрам, тонкий, как нитка.

Он посмотрел на нас. На меня. На молодого, что лежал в пыли с перерезанным горлом. На Характерника.

— Что вы наделали? — голос атамана был глухой, чужой. — Кто за меня слово дал?

Никто не ответил. Ветер гнал пыль по степи. Тучи висели низко, давили на плечи. Тело молодого стало серым.

Характерник сел на вороного. Взял повод. Посмотрел на меня — последний раз. Глаза бесцветные, как вода в колодце. Злоба сменилась на холод. Кожу пробрало.

— Твой пистолет мне не страшен. Твоя смерть у меня в кулаке.

Он тронул коня и поехал прочь, в степь. Чёрный на вороном. Тучи сомкнулись за ним.

«Господи. Что это было?»

Глава 3. Голытьба

Отряд двигался молча. Кони шли шагом, усталые, в мыле. Никто не говорил. Только копыта чавкали по сырой земле да ветер посвистывал в ушах.

Я ехал позади. Гнедой хромал на левую переднюю — не сильно, но заметно. Плечо моё затекло, кровь запеклась коркой, кафтан прилип к ране.

Атаман ехал впереди. Спина прямая, повод в левой руке, правая на колене. Шапку потерял в бою — бритая голова блестела на скупом солнце. Старый казак тронул коня, поравнялся с ним.

— Ермила.

Атаман не ответил. Конь под ним переступил, всхрапнул.

— Ермила! — старик потянул к нему руку, тронул за плечо.

Атаман повернул голову. Медленно, как чужой. Лицо серое, губы бледные, под глазами синяки, будто месяц не спал.

Старик отстал. Перекрестился.

Телеги показались из-за бугра. Домовитые встали лагерем у ручья, развели костёр. Дым поднимался тонкой струйкой. Увидели нас, замахали руками. Кто-то побежал навстречу.

Атаман поднял руку. Отряд встал. Он развернул коня к нам.

— Всё останется между нами, братья. Никто не узнает, что здесь было. Ни домовитые, ни попы, ни бабы. Молодого схороним в степи, как казака. Скажем — ногайцы убили. Остальное — на мне. Кто скажет лишнее — я тому не атаман. Вы меня поняли?

Сизый кивнул. Нечай перекрестился. Старик опустил глаза.

— Поняли, — сказал я. — Схороним. И будем молчать.

Тронули к лагерю.

У ручья нас встречали. Домовитые вышли из-за телег, вглядывались, считали. Один, в добром кафтане, с саблей на боку, шагнул вперёд.

— Где остальные?

— Там, — атаман кивнул в степь. — Ногайцы нагнали. Двоих нет.

Домовитый хотел спросить ещё, но атаман прошёл мимо, к костру.

Барана зарезали тут же, у ручья. Нечай свеживал. Мясо насадили на прутья, повесили над огнём. Жир капал в угли, шипел, дым пах сладко. Я сидел, привалившись спиной к тележному колесу, и смотрел, как крутится вертел. Есть хотелось до тошноты, но плечо дёргалось, и я ждал, пока кто-нибудь перевяжет.

Старик подошёл сам. Здоровой рукой размотал тряпицу на моём плече, осмотрел.

— Глубоко. Но кость цела. Защить бы, да нитки нет. Прижжём.

— Жги.

Он сунул нож в угли, дождался, пока лезвие покраснеет, и прижал к ране. Мясо зашипело, запахло палёным. Я стиснул зубы, в глазах побелело. Кто-то сунул мне в рот тряпку. Боль ушла в затылок, в ноги, в землю. Отпускало.

— Живой, — сказал старик. — Теперь ешь.

Я ел. Баранина была жёсткая, горячая, с золой.

Характерник сидел поодаль. Где поставил коня, там и сел — на кошму, скрестив ноги. Не ел. Не пил. Никто к нему не подходил. Даже Сизый обходил стороной. Как камень в поле.

Молодого хоронили на закате. Выбрали место на взгорке — сухое, ветреное, чтобы вода не застаивалась, чтобы степь видно было во все стороны.

Могилу копали саблями. Рыли по очереди. Тело обмыли у ручья. Раздели до исподнего. Вода ледяная, руки краснели сразу. Вытерли чистой рядниной. Одежду его — кафтан, порты, сапоги — сложили рядом. Старый казак перекрестил покойного. Положил ему на глаза две

медные монеты. руки вложил саблю — его же, с которой в бой шёл. Рукоять к груди, лезвие к ногам. Тело опустили в яму на ряднине. Положили на спину, головой на восток, к Иерусалиму. Лицо открытое — к Богу предстать с открытым лицом. Каждый бросил горсть земли. Первым атаман. Последним я. Земля была сухая, сыпалась сквозь пальцы, падала на белую рубаху, на саблю, на монеты.

Курган насыпали невысокий — в пол-аршина. Сверху положили камни, чтобы зверь не раскопал. На вершину воткнули крест из досок телеги.

Старый казак прочитал молитву — короткую, походную: «Упокой, Господи, душу раба Твоего, воина...» Имя запнулся. Атаман подсказал: «Иваном звали». И старик договорил.

Я уснул под телегой. Небо над головой — чёрное, звёздное. Рядом дышал гневой, жевал губами. Где-то выл волк, далеко. Плечо ныло, но уже не жгло.

«Жизнь за жизнь. А моя жизнь — чья?»

Утром двинулись дальше. Шли ходко: степь ровная, кони отдохнули, телеги не вязли. К вечеру второго дня я узнал места. Кости конские у ручья — наши кости, с прошлой стоянки.

К исходу третьего дня вышли к Дону.

Река лежала широкая, серая, в вечернем тумане. На том берегу, на острове, — Черкасск.

Город стоял на воде, как на блюде. Обнесён дубовым частоколом — брёвна в два обхвата, заострённые, почерневшие от дождей. По углам — сторожевые башни, приземистые, с бойницами. Ворота обиты железом, открыты — днём входил кто хочешь, ночью запирают. Из-за частокола поднимались дымы — сотни труб, город гудел.

У пристани теснились струги и чайки — лодки казачьи, узкие, длинные, с задранными носами. Одни смолили, другие разгружали: бочки, мешки, тюки с сукном. Пахло рыбой, дёгтем, речной водой и дымом.

За воротами — улицы кривые, мощённые дубовыми плахами. По бокам — курени, мазанки, рубленые избы. Где-то кузня стучала молотом, где-то лаяли собаки, где-то баба кричала на детишек. Казаки ходили при саблях, в шапках набекрень. Бабы в платках, в долгих юбках, с коромыслами. На площади — церковь деревянная, ещё новая, купола обиты осиновым лемехом, блестели на закате как серебряные.

У церкви — круг. Там делили добычу.

Нас уже ждали. Домовитые, что ушли вперёд, разнесли весть. Казаки подходили, смотрели на наши телеги, на баранов, на пленную бабу с мальчишкой. Цокали языками, считали.

Атаман встал посреди круга. С ним — старый казак, Сизый, ещё двое домовитых. Сундуки открыли, выложили добро на кошму: соболя, серебро, оружие.

Круг собрали у церкви. Домовитые уже ждали: четверо в добрых кафтанах, при саблях, один с серебряной цепью на груди — старшина. Из наших подошли атаман, старый казак, Сизый, Нечай. Я встал позади, у тележного колеса, чтобы видеть всё и не лезть под руку.

Добро выложили на кошму посреди круга. Сундуки открыли. Соболя — шесть шкурок, тёмных, мягких. Серебро — монеты ордынские, московские, пара персидских с дырочкой. Моништа бабы, браслеты, серьги с камнями. Сабли кривые, ножны тиснёные. Луки костяные. Кольчуга рваная, но железо доброе. Котёл медный. Бараны стояли поодаль, блеяли.

Старшина домовитых, тот что с цепью, шагнул вперёд. Звали его Корней. Борода седая, лопастью, глаз один прищурен — не то ранен, не то привык всё оценивать.

— Ну, Емила, — сказал он. — Дуван дуванить будем. Показывай, что взяли.

Атаман подошёл к кошме. Встал над добром, руки в боки.

— Соболя — по рублю за шкурку. Серебро — по весу. Оружие — кому нужнее. Котёл — в общее, артельное. Бараны — по куреням. Баба пленная с мальчишкой — на торг, выручку пополам.

— Бабу я сам возьму, — сказал Корней. — В счёт доли.

Атаман помолчал.

«Хитрый чёрт. Шкурку поди много под гузно стелит, бабу только разложить на них захотел».

— Бабу — Корнею. Остальное — по обычаю. Мне — треть, как атаману.

— Третью так третью, — кивнул Корней. — Но соболей пополам. Уговор был: мех — домовитым, мы снаряжали.

— Соболей пополам, — согласился атаман. — Остальное — делим. Голытьбе — по старшинству.

«Вот оно. Сейчас решится — с чем вернуться».

Корней наклонился, взял одну шкурку, поднёс к глазу, подул на мех.

— Добрый соболю. По рублю за шкурку дам. Три шкурки — мои, три — ваши.

— По рублю и двадцать алтын, — сказал старый казак. — Мех зимний, густой. Такой в Москве по два рубля уйдёт.

— По рублю и десять алтын, — ответил Корней. — И то потому что свои.

Старый посмотрел на атамана. Тот кивнул.

— По рублю и десять.

«Торгуются. Как на базаре».

Серебро считали долго. Монеты раскладывали на кучки, звенели, спорили. Саблю мурзову — ту, что с серебром на ножнах — атаман взял себе. Вторую отдали Сизому — он свою зазубрил в бою. Лук костяной достался Нечаю.

— Золотой, — атаман обернулся ко мне. — Ты караульного снял и в бою двоих положил. Держи.

Он бросил мне саблю. Клинок широкий, с долом, рукоять в коже, ножны простые, без серебра. Я поймал. Потянул из ножен — сталь сизая, чистая.

— И горсть серебра, — старый казак протянул мне монеты. — По весу.

Я высыпал в кошель. Тяжёлые. Холодные.

«Ну это никуда не годится. Опять копейки».

— А этому что? — Корней кивнул в сторону.

Все обернулись. Характерник сидел у пристани, на бочке, спиной к кругу. Смотрел на Дон. Чёрный на сером.

— Ему своё, — сказал атаман глухо. — Не трожь.

Мы с Нечаем оседлали коней и выехали с круга. Он — на своём, саврасом, с облезлым хвостом. Я — на гнедом, тот уже не хромал, разогрелся. Саблю новую повесил на пояс, старую приторочил к седлу.

Улицы кривые, мощённые дубовыми плахами, где плахи кончились — грязь по щиколотку. Кузни дымили, из открытых дверей тянуло калёным железом и углём. Мимо проехал казак с возом камыша. Баба несла корзину с рыбой, рыба пахла Доном, чешуя блестела на солнце. Детишки бежали за нами, кричали: «Дядь, дай грош!» Нечай кинул им медяк, они отстали.

У пристани грузили струг — бочки с порохом, мешки с мукой, пищали связками. Казаки ругались, тянули канаты. Пахло смолой и речной тиной. Чайки орала над водой, дрались за рыбы потроха.

У шинка на углу сидел слепой бандурист, перебирал струны, пел про атамана, что пал в степи. Мы привязали коней у коновязи. Нечай хлопнул меня по плечу.

— Золотой, что ты такой надутый?

— Чем радоваться? — я посмотрел на новую саблю. — На кой чёрт сдалась она мне, третья уже висеть на стене будет.

— Не чертыхайся, — раздалось позади.

Старый казак сидел на перевёрнутой бочке у входа в шинок, грел кости на солнце. Плечо перевязано, но уже без крови. Глаза сощурены, усы в стороны. Смотрел на нас, как на несмышлёных внуков.

— Ты как хотел-то, бабу может себе?

— Если и бабу, то только принцессу византийскую, — ответил я.

И представил: стоит она на пристани, платье шёлковое, синее с золотом, волосы чёрные до пояса, глаза — как у лани, только с хитринкой. Губы алые, брови тонкие. А за спиной у неё — корабль с парусами, и сама она из тех краёв, где тепло и небо другое. И говорит мне: «Золотой, увези меня в степь, я тебе сыновей рожу». А я ей: «У меня сабель три, выберешь — любая твоя». А она смеётся и серьгу мою трогает.

Нечай толкнул меня в бок. Я моргнул — нет принцессы. Только чайки орут, и старый казак сидит, шурится.

— Вот такую, Митрич, — сказал я. — И не меньше.

Старый хмыкнул в усы.

— Ну-ну. Смотри, Золотой, чтобы принцесса твоя в кабаке не застряла. А то бывает — зашёл за невестой, а вышел без порток.

Нечай загоготал. Я сплюнул и толкнул дверь шинка.

В нос ударило кислым — брага, пот, чеснок, рыба. За столами сидели казаки: кто в карты резался, кто в кости, кто просто спал, уронив голову на скрещённые руки. Пол земляной, усыпан соломой. В углу — бочка с краном. За стойкой — шинкарь, толстый, краснолицый, в заляпанном фартуке, вытирал кружку тряпкой, тряпка была грязнее кружки.

Мы заняли стол у окна. Лавка скрипнула подо мной, Нечай рухнул напротив, вытянул ноги. Старый Митрич сел с краю, здоровой рукой опёрся на стол, больную положил на колено.

— Чего брать будем? — спросил я.

— Брагу, — сказал Нечай. — И рыбы. У них тут лец вяленый — с кулак.

— Брагу, рыбу, хлеба, — кивнул я. — И сала, если есть.

— Есть, — шинкарь не обернулся. — Сало с чесноком. По деньгам ли?

Я бросил монету на стойку. Он поймал, прикусил, кивнул.

Принесли кувшин браги, три кружки, доску с лецом — разодранным на полосы, хлеб чёрствый, но ещё мягкий в середине, и сало — розовое, с мясной прослойкой, густо тёртое чесноком. Запах перебил даже кислятину шинка.

Я налил всем. Выпили по первой. Брага была мутная, сладковатая, царапала горло. Хорошая.

Нечай оторвал полосу леща, почесал спину о край лавки.

— Византийская, как они выглядят-то?

— Как турчанки, мабуть, — ответил я.

Митрич поставил кружку, вытер усы.

— Э-э, нет, хлопцы. Турчанки — они смуглые, чёрные, как галки. А византийки — порода другая. Я в Азове одну видал, ещё при старом хане. Нос прямой, брови дугой, волос русый, а глаза — зелёные, как вода в Дону на закате. Кожа белая, будто мука крупчатая. Идёт — шея длинная, плавно, как лебедь по воде. Они, византийки эти, себя блюдут: ни слова лишнего, ни взгляда. Смотрит — а ты уже в карман за подарком лезешь. Такая, Золотой, тебе не по чину. Она тебя вмиг объездит и без седла на скаку скинет. А серьгу твою даже не заметит — у них там серьги с голубиное яйцо носят.

— Значит, говоришь, не достоин я, — я ударил кружкой о стол. Брага плеснула через край. — А их мужики рубят так, как я рублю? Ставлю голову, что нет.

Митрич прищурился, отпил.

— Рубят, Золотой, по-всякому. Там, в Византии этой, не саблями машут — головой думают. Один такого рубанёт словом, что ты год потом кровью харкать будешь. А про достоин

— не мне судить. Может, и достоин. Только принцесса твоя, поди, по-русски не говорит и сабли твоей испугается. А ты ей — «я парень видный», а она от тебя в терем, и стража с алебардами. Ты с саблей, они с алебардами — и где твоя рубка?

Нечай жевал леща, мотал головой.

— Золотой, чем тебе наши девки не устраивают? Тоже глаза зелёные у них, синие, как небо. Носы ровные. Сестру мою старшую видел, Ульяну? Красота, какую ещё поискать надо.

— Сестрёнка твоя и девки наши смотрят на меня и голодранца видят. На кой чёрт я им сдался, ни гроша, ни дома.

— Не чертыхайся, — перебил Митрич. — А византийка, значит, в тебе царевича увидит?

— Увидит во мне красавца лихого, — я закрыл глаза. — Возьму её себе в жёны, она по-нашему не понимает, будет думать, что боярин какой. Я парень видный. Волосы как колосья.

— И куда ты её приведёшь? — засмеялся старый. — К мамке на шею своей? Домовитому твоему в хату?

Я открыл глаза. Митрич смотрел на меня, усы в стороны, в глазах — не злоба, а так, стариковская усмешка. Добрая.

— Свою хату поставлю. Не век в голытьбе ходить.

— Ну-ну, — Митрич поднял кружку. — За хату твою будущую. И за принцессу. Чтобы не сильно дорогая попалась.

Мы чокнулись. Нечай всё ещё жевал, качал головой.

— Ульяна-то лучше всякой византийки. И глаза зелёные, и по-нашему понимает.

— Свататься будешь — мне скажи, — я хлопнул его по плечу. — Я ей про тебя песню сложу. Как ты пяткой на кость напоролся.

— Да ну тебя, — Нечай махнул рукой, но улыбнулся.

Дверь шинка отворилась. Вошёл Сизый. Хромал, но уже без стрелы — вынули. Оглядел нас, кивнул, пошёл к стойке. За ним ещё кто-то из наших. Шум в шинке рос.

— Гуляем, — сказал я и налил всем по новой.

Брага кончилась, взяли ещё. Нечай к тому времени уже рыгал за дверью. За окном вечерело. В шинке зажгли сальные свечи — свет дрожал, тени качались по стенам.

— Построю себе хоромы... как у царя, — сказал я. Язык заплетался.

— Золотой... тебе бы проветрить голову, — икнул Сизый.

— Дырявая она... как сапог Нечая, — смеялся Митрич.

— Почему мы тут сидим, как бедняки... боимся гроши спустить... а кто-то пьёт каждый день сколько хочет, да ещё и девки ему лучшие достаются. Мне это серебро матушке везти, половину домовитому отдать. Покутить — и опять в набег. Вот ты старый, до сих пор бегаешь по степи... — я хлопнул ладонью по столу. Во рту жгло, сушило. — Бог... почему такое делает... а... Митрич... Его воля же?

— Ты Бога не трогай... за грехи мы тут наши... платим... — ответил старый.

— Что я сделал... вот скажи... чем согрешил, что без портков родился? — я сел к Митричу, обнял старого за сухие плечи.

— Началось... — подпёр голову Сизый.

— Ты людей убиваешь...

— Убиваю без злобы в сердце... чтобы бес не овладел.

— Мало этого. Того, кто атамана подстрелил, ты тоже без злобы рубил? То-то же.

— Прав ты, за атамана разозлился, — я посмотрел на свои руки. Линии расплывались. — Это что теперь, во мне бес?

— Хлопцы, — встал Сизый и заправил рубаху в штаны. — Атаман сказал, через три дня на турков пойдём. Желаящие если есть — милости просим.

— Опять на лодках черпать, у меня уже кости не те, — ответил Митрич.

— А кто платит? — я поднял голову.

— Корней, кто ж ещё.

— Опять этот жлоб. Вот был до него Тимофей, домовитый, тот молодым не меньше, чем другим, отдавал. Понимал он всё. Я мамке корову купил, две, после похода. А этот последнее заберёт. Вон, еды дал в дорогу — что голодные в овраге сидели, — я осушил кружку.

— Он по обычаю делит. А Тимофей на восток ушёл, с царём якшается московским, — сказал старый.

— Там, говорят, мехов всяких... — развёл руками Сизый, вытянул руки в стороны. — Соболей. Да такие породистые, да так много, что с собой не утащить. А цены на них в Москве — ух... Так Тимофей и разбогател, говорят.

— Там те, кто царю московскому служат, — встал из-за стола Митрич.

— Да, это не по мне, служить кому ещё. И к туркам не пойду. В прошлый раз сабля досталась, а серебра ещё меньше, — я поднялся, поправил одежду, стряхнул крошки. — Поеду на хутор.

Вышли наружу. Нечай лежал головой вниз, в грязь. Я молча поднял его, перекинул руку через плечо. Он всхрипнул, пробормотал что-то про леща и затих.

— Характерник сказал, улов будет завидный, каждый получит то, что хочет, — сказал Сизый, с трудом залезая на коня.

Я замер. Нечай похрапывал на плече.

— Врёшь.

— Зуб даю.

Сизый тронул коня, кивнул на прощание и поехал вниз по улице — к пристани, где стояли струги. Митрич поднялся, опираясь на палку, перекрестил нас и поковылял в свой курень, в переулок, где пахло дымом и сохло бельё на верёвках.

Я взвалил Нечая на коня — поперёк седла, головой вниз. Тот замычал, но не проснулся. Вскочил в седло сам. Гнедой фыркнул, переступил. Я тронул повод и поехал шагом в ночь, за околицу, туда, где степь начиналась и где ждала мамка с пустым столом и коровой, купленной после прошлого похода.

Глава 4. Кров

Утро ударило в глаза — как соль на рану. Солнце только вылезло из-за балки и уже жарило. Я сидел в седле, как мешок с костями. Голова раскалывалась, виски стучали, во рту — будто кони ночевали. Гнедой шёл шагом.

Рядом качался Нечай. Лысина красная, глаза щёлки. Один сапог потерял ночью, но даже не заметил. Ехал босой на правую ногу, свесив её, как плеть.

Степь лежала ровная, сухая, в утренней дымке. Жаворонок висел в небе, трещал без умолку — и этот треск сверлил голову, как шило.

— Пить, — прохрипел Нечай.

— Терпи.

Впереди блеснула вода. Река вилась из Черкаска — та самая протока, что уходила в Дон. Берег пологий, в осоке, вода светлая, с песчаным дном. Мы спешили. Я стянул сапоги, кафтан бросил на траву. Нечай просто сполз с коня и на четвереньках пополз к воде.

Я вошёл в реку по колено. Холодно. Хорошо. Зачерпнул ладонями, плеснул в лицо. Потом ещё. И ещё. Вода текла по шее, по груди, по больному плечу. Рана затянулась, но кожа вокруг была красная, стянутая.

Нечай лёг лицом в воду. Лежал, не двигаясь. Потом вынырнул, фыркнул.

— Живой?

— Живой, — он перевернулся на спину, заморгал в небо. — Пить надо меньше.

— Надо.

— Но не будем.

— Не будем.

Я сидел в воде по пояс, песок подо мной проседал, течение тянуло за ноги. Нечай плескался рядом, мычал что-то без слов.

У дальнего берега, где протока делала изгиб, что-то ткнулось в корягу, отцепилось и поплыло дальше. Медленно, крутясь. Чёрные волосы стелились по воде, простыня белая набухла и тащилась следом, как саван. Тело.

— Нечай, смотри, — я показал пальцем.

Он поднял голову, сощурился. Тело ударилось о берег, отскочило, поплыло ближе. Невысокого роста, плечи узкие. Простыня завернулась вокруг ног, одна рука свисала в воду.

Девушка.

Нечай встал. Вытер рот рукавом. Тело подплыло ближе — и я узнал. Лицо смуглое, брови вразлёт, на щеке шрам — не наш, старый, тонкий. Та самая ногайка, которую Корней забрал в счёт доли. Та, что сидела на сундуке, связанная, и молчала.

Она качнулась на волне и повернулась к нам. Глаза открыты. Чёрные. Пустые. Смотрели в небо, но мне казалось — на меня. Течение подталкивало её ближе, к нашему берегу. Пальцы, содранные до мяса, ногти поломанные.

— Сюда плывёт, — Нечай выбежал из воды, пятки засверкали. — Золотой, марш на берег, не дай Бог коснётся — следующим утопленником будешь!

Я поднялся. Вода держала, не хотела отпускать. Вышел на берег, оглянулся.

Тело ударилось о корягу, застряло. Простыня зацепилась за сук, натянулась. Девушка покачивалась на месте, волосы обвили ветку, как чёрные водоросли. Потом ткань треснула, и тело медленно поплыло дальше. Течение понесло её дальше.

— Это же та баба, которую мы с улуса приволокли, — сказал я.

— Точно... — Нечай почесал голову. — А Корней её себе взял. В счёт доли.

— Утопил её, сука.

— Да ну тебе. Сама утопилась, — сказал Нечай.

— Посмотри на руки, ободраны. Кидалась небось, вот он её и загубил.

Нечай помолчал, потом сплюнул.

— Может, и загубил. А что ты сделаешь? Корней — домовитый, у него сабля и право. Ты — голытьба. Кто тебе поверит?

— Никто.

— Вот и не лезь.

Я тронул коня. Гнедой пошёл шагом. Солнце поднималось выше, припекало спину.

— А если б твоя Ульяна? — спросил я.

Нечай долго не отвечал. Потом сказал тихо:

— Тогда б я Корнея сам утопил. И не посмотрел бы, что домовитый.

Нечай свернул у развилки. Поднял руку на прощание, босой пяткой дал коню в бок и потрусил на восток, к Раздорам. Хутор его стоял на взгорке, над балкой, где весной шумела вода.

Я поехал прямо. Камышин показался из-за бугра, когда солнце уже садилось. Хутор стоял над рекой, на пологом склоне, спиной к степи, лицом к воде. Десятка полтора дворов. Избы рубленые, приземистые, крытые чаканом — сухим камышом, что резали тут же, в плавнях. Кое-где крыши почернели от дождей, кое-где заплатаны свежими снопами. Оконца маленькие, забранные бычьим пузырём, у некоторых — ставни, вырезанные из цельного дуба. Дворы огорожены плетнём из тальника, у богатых — частоколом. За избами тянулись огороды: капуста, репа, тыквы у плетня. У воды чернели перевернутые лодки — смолёные, с высокими носами. Воздух свеж.

Улица одна, мощённая утопанной глиной. Посреди хутора — колодец с журавлём, ведро на цепи. Рядом — старый вяз, под ним скамья, врытая в землю.

Пахло дымом, рыбой и парным молоком. Где-то брехала собака.

Дом стоял на краю хутора, над самым обрывом. Рубленый в два этажа, с высоким крыльцом, крытым резным навесом. Окна большие, в слюдяных пластинах, ставни расписные — синее с красным. Крыша тёсовая, не камышовая, конёк вырезан в виде конской головы. Ворота дубовые, кованые, с железным кольцом вместо ручки. За домом — амбар, конюшня на пять стойл, ледник у реки, баня у воды. Двор вымощен дубовыми плахами — не то что у нас, где глина да солома.

Я подъехал, спешил. Гнедой потянулся к корыту с водой. Повёл его в стойло — там уже стояли два коня домовитых, сытые, гладкие, в дорогой сбруе. Мой гнедой на их фоне выглядел как нищий на царском пиру.

Дверь дома хлопнула. По крыльцу застучали пятки.

— Золотой! — завопила Настя, сбегая по ступеням. Коса русая до пояса, платье синее, с вышивкой по подолу, бусы на шее — яркие. Глаза синие, как небо над Доном. — Вернулся, живой!

— Конечно, Настюш, — я привязал коня, спрыгнул. — Батя твой где?

— В Черкасск поехал, с товаром, — она махнула рукой куда-то в сторону реки. — Молоко повёз, кожи. С ним Степан и Гнат, так что долго будут. А ты к нам надолго?

— Нет. Матушка моя где?

— У нас, где ж ещё, — Настя взяла меня за руку, потянула к крыльцу. — Полы моет. Мы сегодня стирку затеяли, она помогает. Пойдём, пойдём, там и поешь, и расскажешь.

Я поднялся на крыльцо. Во дворе, у бани, кипела работа. Две наймички — молодые казачки из голытьбы, в закатанных по колено юбках, босые, с мокрыми подолами — таскали корзины с бельём. Одна развешивала рубахи на верёвке, другая тёрла котёл песком. Тут же, на лавке, сидела старуха с вязанием. Ещё одна баба месила тесто в корыте, локти в муке.

— Золотой! — раздалось с крыльца.

Матушка стояла в дверях. Руки мокрые, в мыльной пене, платок сбился на плечо. Похудела. Но глаза живые, как солнце.

— Живой, — сказала она тихо. — Слава Богу. Живой.

Я поднялся, обнял её. От матушки пахло щёлоком и хлебом. И домом.

— Опять с Нечаем надрался, — сказала матушка.

Я обнял её. От матушки пахло щёлоком и хлебом. И домом. Потом отпустил, достал мешочек с монетами, положил в ладонь.

— Вот.

Она посмотрела на мешочек. Посмотрела на плечо. Коснулась пальцами легко.

— Поранили, гады. Пошли.

— Золотой ранен, скорее, девочки! — крикнула Настя.

Женщины бросили дела. Наймичка уронила корзину с бельём, старуха отложила вязание, баба с тестом вытерла руки о фартук. Все засуетились, забегали — одна за водой, другая за чистой рядниной, третья за травами. Настя метнулась в дом и вынесла горшки, ступку, узелок с сушёными пучками.

— Да ладно вам! — крикнул я им вслед. — Всё там хорошо уже.

— Не умничай, садись, — матушка поставила табурет посреди двора и посадила меня. Принялась снимать одежды. Кафтан стянула, рубаху через голову. Плечо открылось — рана затянулась, но края красные, кожа вокруг воспалённая.

Настя ахнула. Матушка только вздохнула.

Принесли горячую воду в глиняном кувшине, чистую ряднину. Одна из наймичек растёрла в ступке сухой подорожник с мёдом — тягучую, пахучую кашицу. Другая заваривала в ковшу ромашку и зверобой — рану промывать. Третья держала наготове чистые полосы холстины для повязки.

Матушка промыла рану тёплым отваром. Я стиснул зубы. Потом наложила подорожниковую мазь густо, как масло на хлеб. Сверху прижала чистую тряпицу, замотала холстиной — туго, но не до боли.

— До свадьбы заживёт, — сказала Настя и тут же покраснела.

— До чьей? — я усмехнулся.

— До твоей, — буркнула она и убежала в дом.

Матушка проводила её взглядом, покачала головой. Женщины собрали горшки, ряднину и разошлись по делам. Я остался сидеть на табурете — голый по пояс, в повязке, с мешочком монет в кулаке.

— Есть хочешь? — спросила матушка.

— Хочу.

— Тогда пошли. Настька, ставь на стол!

Из дома пахнуло хлебом и борщом. Я поднялся. Плечо ныло, но уже легче.

Обедали во дворе, под старым вязом. Матушка с Настей вынесли стол — дубовый, тяжёлый, на козлах. Застелили чистой рядниной. Солнце уже не пекло, но грело — в самый раз. Ветер с Дона тянул прохладой, шевелил скатерть, играл Настинной косой. Где-то в плавнях кричала цапля.

На стол подали что было в доме. Борщ в глиняном горшке — густой, с мозговой костью, с пшеном, заправленный салом и чесноком. Миска солёных огурцов — мелких, пупырчатых, с укропом и дубовым листом. Хлеб пшеничный, только из печи, корочка блестящая. Варёные яйца, холодная баранина с чесноком, крынка сметаны. Квас в жбане — тёмный, ядрёный, с изюмом. Матушка налила мне первому, подвинула хлеб.

Я ел, как голодный волк. Борщ обжигал, но я черпал ложкой, дул, глотал. После походной баранины с золой — рай. Настя сидела напротив, подпёрла щеку ладонью, смотрела.

— Золотой, — сказала она наконец, — что вы там с похода добыли, расскажи.

Я оторвался от миски, вытер рот рукавом. Матушка погрозила пальцем — вытирайся хлебом. Я улыбнулся.

— Саблю, серебра, овец, паренька и девушку ногойку.

— Ясачку, тебе досталась? — Настя нахмурила бровь. Глаза сузились.

— Да куда уж тут, — я кивнул на саблю, что лежала на лавке. — Сабля. Третья уже. Повешу на стену.

— Бедный мальчик и бедная девушка, — сказала матушка тихо. — Небось домовитые забрали. Паренька казаком, может, сделают, а вот девушку...

— Да, — перед глазами всплыло её тело. Чёрные волосы в воде. Простыня. Пальцы ободранные. Я мотнул головой.

— Что? — Настя заметила.

— Ничего. Домовитому досталась. Корнею. Не спрашивай больше.

Ложки бились о посуду. Настя собирала миски, матушка смахивала крошки со стола в ладонь. Я сидел, откинувшись на лавке, сытый, тяжёлый. Плечо под повязкой ныло, но уже не дёргало.

— Что там по дому помочь надо? — оборвал я тишину.

— Иди спи, — матушка вытерла стол рядниной. — Небось кутили всю ночь.

— Да надо бы...

— Надо, — согласилась она. — Но не сейчас. Сейчас ты никакой работник. Иди.

Я поднялся. Тело налилось усталостью, будто весь поход разом на плечи лёг. В дом заходил как в тумане. Дверь скрипнула, в сенях пахло сухими травами и старым деревом. Матушка провела меня в горницу, где стояла лежанка — деревянная, широкая, с овчинным тулупом вместо одеяла.

Я стянул сапоги — правый, левый. Кафтан бросил на лавку. Саблю положил рядом, под руку. Стянул рубаху через голову. Лежанка приняла спину, как родная. Тулуп пах овчиной и полынью — от моли. Подушка набита сеном, колола щёку, но это была лучшая подушка в мире. За окном ветер качал вяз, тень ветки ходила по потолку. Где-то далеко брехала собака. Где-то ближе матушка гремела посудой.

Я закрыл глаза. И провалился.

Проснулся я от голосов. Во дворе гудели, скрипели ворота, ржали кони. Солнце уже перевалило за полдень — косые лучи били в слюдяное оконце, дробились на полу жёлтыми квадратами. Я сел, потёр лицо. Плечо затекло, но уже легче.

Дверь приоткрылась. Настя заглянула в щёлку.

— Золотой, вставай. Батя вернулся. Тебя кличет.

Я натянул рубаху, кафтан, сапоги. Саблю повесил на пояс — привычно, как пятую ногу. Вышел на крыльцо.

Во дворе кипело. Домовитый стоял посреди, в добром кафтане, запylённый с дороги. Рослый, плечистый, борода окладистая, с проседью. Глаза светлые, цепкие — всё видят, всё считают. Звали его Панкрат. Два работника разгружали телегу: бочки, тюки, мешки с зерном. Кони фыркали, отряхивались. Настя уже несла батю ковш кваса.

— Золотой, — Панкрат увидел меня, махнул рукой. — Подь сюда. Разговор есть.

Я спустился с крыльца, подошёл. Панкрат отпил кваса, вытер усы.

— Ну, рассказывай, как сходили? — Панкрат сел на лавку, откинулся к стене. Устал с дороги, но глаза живые.

— Неохота, — я положил на стол его долю серебра. — Там ещё сабля есть, недурная, можешь тоже взять.

— Оставь себе, — он взял мешочек, не развязывая, сунул за пазуху.

Панкрат был мужик лет сорока пяти, но крепкий, как морёный дуб. Роста высокого, плечи широченные — в дверях боком проходил. Борода окладистая, седая на треть, усы длинные, концами вниз, как у старого полкового. Нос прямой, с горбинкой — в молодости ломали, да срослось. Глаза светлые, голубые, с прищуром. Одет по-походному, хоть и домовитый: кафтан тёмно-зелёный, суконный, подпоясан ремнём с серебряной пряжкой. Сабля на боку — простая, ухоженная. Сапоги яловые, в пыли. Руки большие, в шрамах — сам когда-то рубался, прежде чем дом ставить.

— Когда поход? — спросил он.

— Послезавтра в Черкасск поеду.

— Так скоро! — голос Насти донёсся из-за угла. Подслушивала.

— Настя! — Панкрат обернулся. — Не мешай мужикам говорить.

Настя вышла из-за угла, надутая. Бросила на меня взгляд — быстрый, колючий — и ушла в дом. Панкрат проводил её глазами, потом встал, взял меня под руку и повёл за ворота, к обрыву, где нас никто не слышал.

— Золотой, слухай, — обернулся он, убедился, что никого. — Ты на Настю глаз не клади, не сердчай. Девка молодая, начинает за тебя трещать, переживать. Если вдруг что... ну, она...

— Панкрат, оставь это, — я постучал его по плечу. — Настя девка славная, да только я всё понимаю.

— Спасибо, — сказал он мне вслед.

Ночь легла на хутор тихо. Луна висела над Доном — круглая, жёлтая, как масляный блин. Ветер стих, только сверчки заливались в траве да где-то у реки сонно крякала утка. В доме Панкрата погасили свечи. Наймички ушли в людскую. Собака свернулась у конюшни, стукнула хвостом и затихла.

А мне не спалось.

Я вышел во двор. Босой, в одной рубахе. Земля под ногами прохладная, утоптанная. Прошёлся до ворот, обратно. У поленицы остановился. Взял колун — тяжёлый, с длинной рукоятью, отполированной ладонями. Подкинул в руке. Выставил чурбак. Размахнулся.

Тук. Полено развалилось надвое. Я выставил следующее. Тук. Старался бить тихо, без треска, в землю.

— Выспался, — голос матушки позади.

Я обернулся. Она стояла на крыльце, в исподней рубахе до пят, поверх накинут платок — серый, пуховый. Волосы заплетены в косу на ночь, в руке свечной огарок в глиняной плошке. Пламя дрожало, тени плясали по лицу. Босая, как я. Видно, уже легла, да услышала стук.

— Да... — я расколол ещё одно бревно. — Громко?

— Нет. Я и не спала.

Матушка спустилась с крыльца, подошла ближе. Плошку поставила на лавку. Села.

— Настя сказала, послезавтра в поход идёшь. Ты не спеши. Серебра хватит пока.

Я воткнул топор в бревно.

— Не хватит, мам. Мало это.

— Не мало, — она покачала головой. — Ты как с Ермилой связался, от него не отходишь. Ни одного похода не пропускаешь. Без тебя тут уже пусто стало. Осядь ты уже. А то как батя твой поляжешь от сабли ногойской.

— Не полягу. Бог со мной.

Матушка вздохнула. Присела рядом на дрова. Платок сполз на плечо, она поправила его привычным движением.

— Ты не заработаешь на дом. Посмотри, тут разве плохо? Панкрат мужик хороший, тебя любит по-своему, Настя души не чает.

— Все зарабатывают, а я нет?

— Они головой думают, а ты бежишь как одержимый.

— Что ещё делать-то? Я ничего не умею больше.

— Ты и не пробовал, — она взяла меня за руку. — Я с Панкратом говорила. У него на пристани место есть — грузы считать, струги снаряжать. Работа не пыльная, при деньгах. И дома будешь. Он тебя возьмёт, ты же грамоту знаешь, Ермила научил. А ты всё мимо.

— Не моё это, — я сел с матушкой рядом. — Я знаю, могу прославиться. Вот увидишь. И заработать смогу. Станем домовитыми.

Она выдохнула. Потёрла руками усталые глаза.

— Тогда молитвы читай. Ермилу слушай, он казак хороший, у царя московского воевал. Грамотный. Не лезь поперёк всех. Характерника держись, он и от пули, и от сабли спасёт.

— Ага, спасёт... — я усмехнулся.

Матушка посмотрела на меня долго. Перекрестила. Поднялась, взяла плошку.

— Иди спать, сынок. Завтра день долгий.

Она ушла в дом. Свеча погасла. Я остался сидеть на дровах. Луна висела над Доном. Сверчки трещали. Вода блестела в темноте. Я посидел ещё немного, потом поднялся, выдернул топор из бревна и пошёл в дом.

Глава 5. Чайки

Утро вползло в горницу серое. Петух орал за окном. Я лежал, уткнувшись лицом в подушку, и не хотел жить. Плечо ныло, голова после вчерашнего ещё гудела, а ноги будто приросли к лежанке. Стук в дверь. Не дожидаясь ответа, вошла матушка.

В руках — чистая рубаха, льняная, ещё пахнувшая щёлоком. Порты выглаженные, кушак новый, синий. Всё аккуратно сложено, как в церковь.

— Вставай.

— Ма...

— Вставай, говорю. Панкрат ждать не будет.

Я приподнялся на локте. В окно било солнце — уже высоко. Проспал.

— Куда ждать?

— На пристань. Я договорила. Сегодня поработаешь у него. Грузы считать, струги снаряжать. Рубаху надень, умойся, позавтракай — и вперёд.

— Ма, я же сказал, не моё это.

Она положила одежду на лавку, разгладила рубаху ладонью.

— А ты попробуй. Один день. Что, саблей махать проще, чем головой думать?

— Ма...

— Не мамкай, — она хлопнула дверью так, что горшок на полке подпрыгнул.

Я сел, потёр лицо. Рубаха лежала на лавке — чистая, чужая. Не для боя, для работы. Вздохнул. Поднялся.

Умылся ледяной водой из ведра. Натянул рубаху.

Панкрат ждал у ворот. Уже в седле, свежий, будто и не ездил вчера из Черкаска. Конь под ним каурый, сытый, сбруя с медными бляхами. Увидел меня, хмыкнул.

— Ну, работничек. Садись.

Я взобрался на гнедого. Тот всхрапнул — тоже не выспался. Тронулись шагом. Улица ещё спала, только дым из труб да собака у колодца лениво тявкнула вслед.

— Ты, это, Золотой, не хмурься, — Панкрат поправил шапку. — Работа не бей лежачего. Сиди себе, считай. Бочки с дёгтем — раз, мешки с мукой — два, пищали — в отдельный ящик. Купцы приходят, ты им бумагу выписываешь. Грамоту ж знаешь? Ермила учил?

— Учил.

— Вот и ладно. А то у меня Степан считал — двух коней потерял.

— Как это?

— А так. Записал, что отдал, а кому — забыл. Ищи теперь коней по всему Дону.

Я усмехнулся. Гнедой фыркнул.

— Пристань у нас хорошая, — продолжал Панкрат. — Струги смолим, грузы с Москвы идёт, с Астрахани, шкуры, соль, порох. Народу тьма. Ты главное не зевай, записывай всё в книгу. А то украдут — с тебя спрос.

— А ты?

— А я надзираю, — он улыбнулся в усы.

Я зевнул.

— Вот-вот, — Панкрат хлопнул меня по плечу. — Скучно, зато живой. Не то что у вас в степи.

Пристань показалась за поворотом. Дон блестел на солнце. У берега покачивались струги — десятка два, длинные, с высокими носами. Пахло смолой, рыбой, речной водой. Грузчики уже таскали тюки, скрипели сходни. Где-то стучал топор. Где-то купец орал на приказчика.

— Вот моё царство, — Панкрат спешился. — Пошли, покажу твой стол.

Я спрыгнул с коня. Пристань гудела. Чайки орал. Солнце пекло.

Привязал гнедого у коновязи. Панкрат уже шагал к пристани. Я за ним.

«Нечай наверное со смеху упал бы. А Митрич перекрестился».

Пристань гудела, как улей. Грузчики катили бочки, тюки с шерстью, ящики с рыбой. У воды струги покачивались — длинные, с задранными носами, как гуси на плаву. Одни разгружали, другие только швартовались.

Панкрат провёл меня мимо бочек с дёгтем, мимо горы мешков с мукой, мимо купца в долгополом кафтане, который орал на приказчика, тыча пальцем в бумагу. Остановились у навеса — дощатого, крытого камышом. Под навесом стоял стол — грубо сколоченный. На столе — книга в кожаном переплёте, чернильница с гусиным пером, песочница. И табурет.

— Вот твой стол, — Панкрат хлопнул ладонью по книге. — Сюда записываешь всё, что приходит и уходит. Понял?

— Понял.

— Гляди. Приходит струг. Ты спрашиваешь у кормчего: чей, откуда, что везёт. Он говорит: купца Савелия, из Астрахани, бочки с икрой, мешки с солью. Ты записываешь в книгу: число, имя купца, откуда, товар, сколько мест. Вот так.

Он открыл книгу, ткнул пальцем в страницу. Там уже были записи — корявые, с кляксами.

— Потом идёт грузчик, берёт товар. Ты ему говоришь: на какой склад нести. И записываешь: кому отдал, сколько. Вечером приходишь ко мне, сверяем. Всё просто.

— Просто, — повторил я.

— Если купец спорит — зовёшь меня. Если грузчик ворует — тоже меня. Если ошибся — зачеркни и напиши сверху. Главное, чтобы всё сошлось. Понял?

— Понял.

— Ну, садись. Пробуй.

Я сел. Табурет скрипнул. Перо лежало передо мной — лёгкое, невесомое. Не то что сабля. Я взял его, повертел. Панкрат стоял над душой, скрестив руки.

— Чего замер?

— Думаю.

— Ты не думай. Ты пиши.

Я вздохнул. Открыл книгу. Обмакнул перо.

Плечи затекли быстро. От непривычки больше, чем от работы. Я сидел, склонившись над книгой, как дьяк над псалтырью. Оно скрипело, царапало бумагу, ставило кляксы. Пальцы в чернилах, рукав в песке.

Под навес заглянул мужик. Лет сорока, в засаленном кафтане, с клочковатой бородой, глазки бегают. Пахло от него брагой.

— Ты новый писарь? — спросил он.

— Новый, — я отложил перо.

— Мне бы бочонок дёгтя. Склад открой.

— Чей струг? Откуда? Какой товар привёз? — спросил я.

Мужик замаялся.

— Да я это... не со струга. Мне просто бочонок. Для себя. Панкрат знает, он разрешил. Ты запиши там как-нибудь, мне не впервой.

— Если Панкрат разрешил, пусть подойдёт и скажет.

— Да зачем его дёргать? — мужик придвинулся ближе, понизил голос. — Ты запиши, а я тебе отолью чуток. Или серебром. Дёготь нынче дорогой, а тебе, поди, лишний грош не помешает?

Я откинулся на табурете. Посмотрел на него.

«Вот оно. Первый день — и уже воруют. Паскуда, ну я тебе устрою».

В пальцах засвербило. Я встал, схватил мужика за ухо и сжал так, что хрящ хрустнул. Он взвизгнул, как поросёнок, и покраснел до самой лысины.

— Ты что, чёрт хмельной, меня на грех подбиваешь? — я выкрутил ухо. — Гроши мне надо, думаешь? Я что, на бедняка похож?

— Эй, молодой, да я понял, понял, отпусти!

— А ну шуруй отсюда, пока бочонок в гузно не оказался.

— Золотой! — Панкрат зашёл под навес и встал как вкопанный. — Ты что тут устроил? Мужик вырвался, отскочил в сторону, схватился за ухо — красное, как свёкла.

— Панкрат, — запричитал он, — писарь твой сдурел совсем! Я за дёгтем пришёл, полюдски, а он драться!

Панкрат перевёл взгляд с него на меня. Глаза светлые, цепкие, стреляли насквозь.
— Что случилось? — скрестил он руки на груди.

Я вытер пальцы о штаны.

— Да так, слово за слово... — сказал я. — Всё нормально.

— Нормально? — мужик попятился к выходу. — Он мне чуть ухо не оторвал!

— Ах ты пропитая рожа! Я с тобой на мир иду, а ты... — я выскочил из-за стола. Мужик рванул за спину Панкрата, как крыса за ларь.

— Золотой, — повысил голос тот. — Займись работой. Ты не в поле.

— Знай своё место! — бросил мужик из-за спины.

— А ты чеши отсюда! — развернулся Панкрат. — Бегом, пока я тебе второе ухо не надрал.

Мужик попятился, сплюнул под ноги и зашагал прочь, оглядываясь. У сходней обернулся, хотел что-то крикнуть, но встретился глазами с Панкратом и передумал. Скрылся за телегой. Только борода мелькнула.

Панкрат выдохнул, покачал головой. Потом повернулся ко мне.

— Бери книгу, писарь. Пошли.

— Куда?

— Дело есть. Икру привезли, надо записать. Заодно проветришься.

Я сунул книгу под мышку, перо за ухо — и пошёл за ним.

У дальнего причала стоял струг — большой, астраханский, с резным носом в виде рыбьей головы. От него тянуло рассолом, рыбой и чем-то ещё — солёным, густым, дорогим. На сходнях стоял купец — в добром кафтане тёмно-синего сукна, с серебряными пуговицами, борода стрижена, лицо сытое. Рядом с ним приказчик держал раскрытый ларец с монетами. Панкрат подошёл, поздоровался за руку. Пошли разговоры: сколько бочек, чей улов, почём нынче икра в Москве.

Я встал чуть поодаль. Бочки стояли на досках — пузатые, дубовые, обтянутые обручами. Одна была приоткрыта — пробка вынута, край в рассоле. Пахло морем.

Оглянулся. Панкрат с купцом отвернулись, спорили о цене. Приказчик считал рубли. Я шагнул к бочке, окунул палец в рассол, зачерпнул икру. Зёрна крупные, блестящие, чёрные с серым отливом. Поднёс к губам, попробовал.

Икра лопнула на языке — солёная, маслянистая, с чем-то неуловимо морским, будто ветер морской застрял в каждом зёрнышке. Не еда — шёлк. Глотать не хотелось, хотелось держать этот вкус во рту.

«Такого я ещё не пробовал. Что это за икра?»

— Двадцать рублей за бочку, — донёсся голос купца.

Я застыл. Палец ещё был во рту. Двадцать рублей. За бочку. У меня в кошеле серебра — от силы два рубля с полтиной, и то с мамкиной помощью. А тут — одна бочка стоит как полхутора.

Купец достал из-за пазухи мешок. Развязал, высыпал на ларец горсть серебряных рублей. Монеты покатались, зазвенели. Приказчик ловко пересчитывал, отодвигал в сторону. Панкрат кивнул, ударили по рукам.

Я захлопнул книгу, сунул перо за ухо. В голове звенело.

«Откуда они столько денег берут. Супостаты. Я тут с головой расстанусь. Каждый день смотреть на толстосумов. Встретились бы они мне в степи. Срезал бы кошель да забил как борова. Вот бы такой попался, эдакий турок какой-то».

— Ты что улыбаешься? — обернулся Панкрат. Постучал по плечу, уголок губ его дрогнул. — Вот где деньги, сынок. Туда-сюда — и заработаешь. Пошли, ещё надо пару дел сделать.

Мы обошли пристань. Панкрат считал, я записывал. Мешки с солью — двенадцать, в амбар. Бочонки с мёдом — пять, купцу Игнату. Пищали новые, с Тулы, — в ящиках, под замок.

Я водил пером, уже быстрее, почти без клякс. К вечеру перед глазами плыло, но книга была в порядке.

Панкрат проверил записи, кивнул. Потом развязал кошель, отсчитал серебро и отсыпал мне в ладонь.

— Держи. Заработал. Не так, как с похода, но зато целый. И домой идёшь.

Я посмотрел на монеты. Пять алтын. Не бог весть что.

— Спасибо.

— Не за что. По коням.

Ехали шагом. Солнце садилось за Дон, красило воду в красное. Пыль от копыт поднималась розовая. Кони устали, шли медленно. Панкрат говорил что-то про дела, про завтрашний день, про то, что надо бы ещё людей нанять.

Я не слушал.

«Бочку свистнуть. Может, самому рыбаком пойти... откуда они везут такую... а у турков будет? На бордаж бы взять торговый корабль такой, и в карманы икру... надо взять сумку и подишь к иттанам, на обратную сторону».

— ...Так что мать твоя рядом будет, и тебе платить будет чем мне... Золотой... ты слушаешь?

— Да... — улыбнулся я.

— Батко твой бегал до седых волос. И что с ним. В бою погиб.

— Не в бою, — сказал я. — Его свои же за пьянку зарезали. В походе запил как свинья.

Панкрат остановил коня. Повернулся ко мне всем корпусом.

— Это кто сказал тебе?

— Митрич. Только матушке не говори.

Панкрат долго молчал. Солнце садилось. Ветер трепал гриву каурого. Потом он тронул повод и сказал глухо:

— Хорошо...

Вечер опустился на хутор тихий, тёплый. Луна висела над Доном — круглая, жёлтая, как масляный блин. От реки тянуло прохладой и рыбой. Сверчки заливались в траве. Матушка возилась в доме — гремела посудой, что-то напевала себе под нос.

Я сидел на лавке под вязом, вытянув ноги.

Скрипнула дверь. Настя вышла на крыльцо. В руках — две глиняные кружки. Платье светлое, простое, платок на плечах. Спустилась по ступеням, подошла босиком по тёплой земле. Протянула мне кружку.

— Взвар. С мятой и мёдом. Матушка просила передать.

Я взял. Кружка тёплая. От взвара пахло летом — травами, яблоками, чем-то сладким и далёким. Я отпил. Тепло пошло в грудь. Сверчки напевали.

— Понравилась работа? — спросила Настя.

— Нет.

— Нет? — она выпрямилась. — Батя говорил, что она завидная, не тяжёлая, спину не горбатишь...

— Смотреть на купцов с кошельками каждый день, а самому крохи со стола? — я посмотрел на неё. Матушка притихла у двери.

— Зато ты дома.

— Я не дома, — я сделал глоток, много, обжёг язык.

— Да что тебе так нравится там, в поле?! — Настя поставила кружку на лавку.

— Свобода. Ветер гудит, запах травы сухой, — я посмотрел в синее небо. — Там честно всё. Слава там.

— Смерть там...

— Они рука об руку ходят. Вот увидишь, моё имя ещё будут петь в песнях. Разбогатею, куплю дом, буду ногами босыми по шкурам ходить. Баню топить, коров и овец накуплю. Икры бочку. Всегда будет в погребе у меня брага, — я отошёл и показал на двор, сердце колотилось. — А тут беседка стоять, для братьев. Собираться будем, песни петь и вспоминать о временах, когда голытьбой ходили, и смеяться, шутить. Дети будут, всегда сытые, сын и дочь. Жена красавица завидная, знатная, такая, что в глазах утонуть. Саблю закажу расписную, с золотом, буду у бедра носить.

— Золотой... — перебила Настя.

— Не веришь? — я подошёл ближе. — Неспроста Золотым прозвали. Не потому что волос и усы как колосья, а потому что Божья воля это. Веришь мне?

Девушка молчала. Я взял её за руки.

— Настюш, Богом я помазан, удача во мне, я сердцем чую. Не моё это всё. К большему душа лежит и требует... Своего требует...

— Как у каждого молодого, — матушка присела рядом. — Ты завтра всё же в Черкасск поедешь?

— Да, матушка.

Она посмотрела мне в глаза. Усталые, руки влажные от тряпки.

— Одежду подготовлю тебе, — голос тихий. — Пораньше ложись сегодня.

Я отпустил Настины руки. Девушка отвернулась, взяла кружку и ушла в дом. Тихо. Только босые пятки простучали по крыльцу. Матушка проводила её взглядом, перекрестила меня и ушла следом.

Я остался под луной. Вяз шумел над головой. Дон блестел в темноте.

«Маму мою...Защити, Боже. Недолго тебе тут еще полы мыть осталось. Не быть тебе рабыней до конца дней своих».

Черкасск гудел. У пристани — струги, чайки, дощаники, все свежесмолённые, с задранными носами. Круг перед церковью запрудили казаки — пешие, конные, в кафтанах, в кольчугах, в одних рубахах. Человек пятьдесят, может, больше. Кто с пищалью, кто с саблей, кто с голыми руками — пришёл наниматься. Голоса, смех, ржание коней. Пахло дёгтем, рекой, порохом.

Мы с Нечаем встали у края круга, у тележного колеса, откуда видно всё.

В центре круга стоял Ермила. Глаза горели, голос звенел. Рядом с ним — Характерник. Чёрный на чёрном, молчал, как камень. Чуть поодаль — Корней. В добром кафтане, с серебряной цепью на груди.

— Браты! — Ермила поднял руку. — Турки гонят струг из Кафы в Азов. Шёлк, серебро, оружие. Корабль торговый, пушек нет. Охрана — янычары, но немного. Два десятка, не больше. Мы возьмём его.

Казаки загудели. Кто-то свистнул, кто-то хлопнул в ладоши.

— А Азов? — выкрикнул кто-то. — Там крепость, турки на стенах. Увидят — утопят.

— Азов обойдём ночью, — Ермила посмотрел на Характерника. — Он знает протоки. Мёртвый Донец, гирла. Луны не будет — пройдем.

— А если ветер? — спросил другой.

— На вёслах пойдём. Струги лёгкие, чайки — тихие. Турки не слышат.

Вперёд вышел Корней. Оглядел всех, как хозяин.

— Струги даю. Припасы даю: порох, пищали, хлеб, сало. Десять чаек, по четыре человека на каждую. Добыча — пополам: атаману треть, остальное — по обычаю. Кто со мной — шаг вперёд.

Казаки зашевелились. Кто-то шагнул сразу. Кто-то колебался. Нечай толкнул меня локтем.

— Ну что, Золотой? Турки — это тебе не ногайцы.

- Турки — это шёлк, — ответил я. — И икра. Может, и икра у них там.
- Какая икра?
- Астраханская. По двадцать рублей за бочку.
- Ты с утра пьяный?
- Трезвый.

Ермила заметил нас, кивнул. Корней тоже заметил — взгляд задержался на мне дольше, чем надо. Я выдержал. Не моргнул.

- Золотой! — позвал атаман. — Ты с нами?
- Я шагнул в круг. Нечай — за мной.
- С вами.
- Добро. Тогда готовьтесь. В ночь выходим.

Ночь накрыла Черкасск быстро, по-южному — только что солнце висело над Доном, и вот уже темень, только костры на берегу да огни в окнах. У пристани покачивались чайки — десять штук, длинные, узкие, как шуки. Казаки готовились к выходу: кто смолил весло, кто проверял пищаль, кто точил саблю. Голоса звучали глухо, без дневного гвалта.

Я сидел на перевёрнутой бочке у крайней чайки. Одет был по-походному: кафтан серый, суконный, под ним — рубаха льняная, вторая, чистая, матушкой выглаженная. Порты широкие, заправлены в сапоги. Сапоги яловые, крепкие, с подбитыми подошвами. Кушак синий, за ним — два пистолета, пороховница, мешочек с пулями. На плече — плащ из грубого сукна, от дождя и ветра. Шапка баранья, надвинута на самые брови.

Сабля лежала на коленях. Трофейная ногайская — клинок широкий, с долем, сталь сизая. Я водил точильным камнем вдоль лезвия, медленно, от пяты к острию. Камень пел тонко, железо отзывалось. Потом протёр клинок тряпицей, смоченной в конопляном масле. Проверил ножны: ремень цел, петля не болтается. Повесил саблю на пояс. Легла как родная.

Рядом скрипнули доски причала. Митрич. В старом кафтане, с перевязанным плечом. Сабля на боку, пистоль за поясом. Сел рядом, вытянул ноги, крикнул.

- Ты ж говорил, что старый уже на чайках грести, — сказал я.
- Молодых много, может, кто и старику спуска за вёслами даст, — засмеялся Митрич.
- Жадность привела?
- На утро как закашлялся я. Подумал — лучше в бою умереть, чем на койке. В походе.

Да и у турков на кораблях всегда есть что унести.

- Янычары хороши в бою? — я отложил точильный камень.
- Не бился?
- С голодранцами только.

Митрич почесал усы, сплюнул в воду.

— Янычары, Золотой, это тебе не ногайцы. Те с визгом бегут, как строй сломаешь. А эти — нет. Стоят, пока не лягут. Их с детства учат: сабля, ятаган, лук, пищаль. Но главное у них — ятаган. Кривой, короткий, обоюдоострый на конце. Им и рубят, и колют. Бьют с оттягом — если попал, руку до кости снимает. Доспехи у них лёгкие: кольчуга до пояса, шлем с бармицей, наручи. Щитов не носят — обходятся. Строй держат плотно, как стена. Один пал — другой встал. И молятся, прежде чем рубить. Тихо так, про себя. Это не наш «Господи помилуй» — это другое. Страшнее.

— Чем?

— Тем, что смерти не боятся. Им мулла говорит: падёшь за султана — сразу в рай. Там гурии, шербет, сады. Так что каждый из них уже мёртвый. А мёртвого убить трудно.

— Заливаешь ты что-то, старый...

— Ты это, старших уважай, — улыбнулся Митрич и пригрозил пальцем.

Глава 6. Хвосты

Вёсла ушли в воду разом — десять чаек, сорок клинков, ни огня, ни голоса. Шли по Мёртвому Донцу — узкой протоке, что вилась меж камышей, уводя от Азова в море. Луны не было. Только звёзды дрожали над головой, и вода блестела под вёслами, как дёготь.

Я грёб третьим от носа. Весло тяжёлое, ясеновое, лопасть широкая — резало воду без плеска, уходило глубоко. Руки уже горели, плечо под повязкой ныло, но я тянул — раз, два, раз, два. Вдох — замах, выдох — гребок. Пот заливал глаза, солёный.

Чайка наша — лёгкая, беспалубная, борта низкие, нос задран, как у гусыни. Вдоль бортов натянуты камышовые маты.

Они глушили всплески и прятали силуэт от турецких глаз на стенах Азова. На носу — Сизый, на корме — ещё двое молодых, у кормового весла — Нечай. Итого пятеро.

Рядом со мной сидел Митрич. Не грёб. Сидел, сложив руки на животе, и смотрел в темноту. Довольный, как кот на печи.

«Вот старый пенёк».

Я сплюнул в воду и налёг на весло. Вода была чёрная, густая, пахла илом и солью. Берега сжимались — слева камыш, справа камыш. Ветки ив хлестали по плечам. Сизый на носу раздвигал их шестом. Где-то впереди ухала выпь. Где-то позади, за поворотом, оставался Азов.

Крепость проступала вдали тёмной громадой — каменные стены, башни с зубцами, огни на стенах. Турки жгли факелы, свет дрожал на воде. Если заметят — ударят из пушек. Но мы шли тихо, как змеи. Камышовые маты скрадывали движение. Даже уключины обмотали тряпьем — ни скрипа.

Атаман на передней чайке поднял руку. Все замерли. Вёсла застыли над водой, не капнув. Тишина. Только ветер в камышах да далёкий лай собак в крепости.

Все застыли. Вёсла держали над водой. Характерник сидел в чайке Ермилы у носа. Поднялся. Вышел на самый край, без скрипа. Достал нож из-за пояса. Присел над водой. Склонил голову, будто в поклоне. Закатал рукав чёрного кафтана. Полоснул по руке — коротко. Кровь полилась в воду, чёрная в темноте, и тут же растворилась.

«Опять чары наводит».

Воздух стал спёртым. Вода вокруг чаек пошла рябью. От бортов потянуло сыростью, и вдруг — туман. Алый, как разбавленное вино. Он напелзал с берегов, с камышей, обнимал чайки, забирался под одежду. Я сделал глубокий вдох — гниль. Сладкая, тяжёлая.

Я посмотрел на воду. Она стала темнее, с красным оттенком. Вглядывался глубже. Что-то мелькнуло под днищем — длинное, скользкое. Рыбий хвост. Здоровый, с лопасть весла. Ушёл в темноту. За ним — ещё один, и...руки?

— Золотой... Не смотри, — прошептал Сизый.

Я отпрянул. Руки на весле дрожали. Сизый смотрел прямо перед собой. Митрич молчал, перебирая пальцами пояс. Нечай на корме застыл, открыв рот.

Атаман на передней чайке показал рукой вперёд. Чайки двинулись. Вёсла вошли в красноватую воду без плеска. Туман расступался перед нами, а за спиной смыкался снова.

Азов остался позади. Крепостные огни померкли в алой мгле.

Чайки шли бесшумно. Туман редел, уходил клочьями за корму, и впереди открывалось море — чёрное, спокойное, под звёздным небом. Вёсла мерно резали воду: вдох — замах, выдох — гребок.

Прошли гирла, вышли на морскую гладь. Солёный ветер ударил в лицо. Я втянул носом — море пахло рыбой, водорослями, чем-то огромным. Берег исчез.

— Смотри, — шепнул Сизый.

На горизонте, там, где море сходилось с небом, мигал огонь. Одинокий.

Атаман поднял руку. Вёсла замерли. Мы легли в дрейф, припав к бортам. Чайки сбились в кучу, как утята за уткой.

Корабль приближался. Он шёл медленно, под одним косым парусом — треугольным, как акулий плавник. Парус белел в темноте, надутый слабым бризом. Корпус высокий, крутобокий, обшивка тёмная, смолёная. Нос заострён, с резной фигурой, не разглядеть. Корма поднята, на ней — фонарь. Тот самый жёлтый огонь. Вдоль борта — щиты, расписные, с золотой вязью. Богатый.

— Каравелла турецкая, — прошептал Митрич.

Корабль сбросил парус. Якорь ушёл в воду с глухим всплеском. Встали. Над бортом задвигались тени — двое, трое, пятеро. Чалма на одном, шлем на другом. Янычары.

Мы были прямо под ними. Ермила поднял два пальца. Сизый кивнул, передал знак дальше. Чайки разошлись веером — четыре к носу, три к корме, три остались у борта. Мы с Митричем и Нечаем — у борта.

Я достал пистолет, проверил фитиль. Тлеет. Сабля на поясе, нож за голенищем. Сердце стучало ровно, как весло в уключине.

«Сейчас. Наверху — шёлк и серебро. Наверху — ятаганы с оттягом. С Богом».

Ермила полез первым. Ухватился за якорный канат — толстый, смолёный, в два кулака. Пошёл вверх, перебирая руками и упираясь ногами в борт. Сабля за спиной, пистоль за поясом. Лез быстро, без звука. За ним — Характерник.

Наша чайка прижалась к борту. Корабль нависал над нами стеной — чёрной, мокрой, пахнущей смолой и солью. Где-то наверху скрипнула палуба, звякнуло железо.

Я перекрестился. Вытащил нож из-за голенища. Лезвие широкое, острое. Сунул в зубы — холодный металл лёг на губы, прижал язык.

Ухватился за канат. Пенька жёсткая, в ладонь впилась сразу. Подтянулся. Ноги упёрлись в борт — сапоги скользили по мокрому дереву. Лез быстро, перебирая руками: хват — подтяг, хват — подтяг. Нож в зубах мешал дышать, дышал носом. Мышцы на плечах горели.

Рядом лезли другие. Нечай — справа, без сапог, босой, цепкий, как обезьяна. Сизый — слева, хромал, но руками брал своё. Митрич остался в чайке — старый, сказал, прикроет снизу. Остальные чайки подтянулись к носу и корме, там тоже лезли.

Ещё рывок — и пальцы легли на планшир. Борт. Край. Я подтянулся, заглянул.

Палуба широкая, чистая. Фонарь на корме качался, рисовал жёлтые круги. Тюки с товаром, бочки. Двое янычаров у мачты — один с ятаганом на поясе, другой с пищалью через плечо. Ещё один — на корме, смотрит в море. Трое. Может, больше в трюме.

Я вынул нож из зубов. Челюсть свело. Переложил в правую руку. Лезвие мокрое от слюны, в свете фонаря блеснуло.

Ермила уже был на палубе — крался вдоль борта, низко, как волк. Характерник — за ним. Я подтянулся, перевалился через борт, припал к палубе. Нож в руке. Сердце — в горле.

— Шу сис гелди агачдан, маяк гёрюнмюёр, — сказал первый, тот что с ятаганом. Голос низкий, гортанный.

— Аллах билир нереден чикти бу дюмен, — ответил второй, с пищалью. — Бирдэн бире койуверди, ве гече олду. Каранлик зифт гиби.

— Рюзгар да кесильди. Шимди ятырыз беклемектен башка бир шей йок.

— Коркма, сени кимсе гёрмез бу сис ичинде. Шефак сёкюне кадар беклериз, сонра дюмени кырып гитмели.

«Икра не слышно. Шёлк не слышно. Может, зря лезли?»

Ермила поднял руку. Три пальца. Один — мой. Часовой на корме, у фонаря. Стоял спиной, смотрел в море. Ятаган на поясе, пищаль у ног.

Я двинулся вдоль борта. Шаг — замираю, шаг — замираю. Палуба под сапогами не скрипела.

Часовой зевнул. Переступил с ноги на ногу. Я был уже в трёх шагах. Нож перехватил обратным хватом — лезвие от локтя. Не дышал.

Рванул. Левой рукой зажал рот — плотно, до хруста челюсти. Правой ударил. Нож вошёл под ребро. Дёрнул наискось. Горячее хлынуло по пальцам. Часовой задёргался, захрипел в ладонь. Ноги подломились. Я держал, пока не обмяк. Опустил на палубу. Тихо. Фонарь качался. Кровь растекалась по доскам, чёрная в жёлтом свете.

«Первая кровь. Дальше легче».

Взрывы вдалеке. Глухие, тяжёлые — будто гром под водой. Я обернулся. С моря, от Азова,плыли огоньки. Факелы на галерах. Турецкие. Шли ходко, на вёслах, и палили из пушек в нашу сторону. Гул поднялся над водой, заметался меж бортов.

Я присел. Палуба задрожала под ногами. Крики, топот — наши, турки, всё смешалось. Где-то внизу, в трюме, заорали янычары.

«Чёрт, что ж это такое».

На палубе грохнул выстрел. Пищаль. Потом ещё. Звон клинков. Сизый уже рубился у мачты — ятаган против сабли, искры в тумане. Ермила кричал что-то, махал рукой. Из люка полезли турки — заспанные, злые, в одних рубахах, но с ятаганами.

Я выхватил саблю.

Я прыгнул. Палуба ушла из-под ног, встретила жёстко — присел, перекатился через плечо, встал. Передо мной спины. Турки рубились с нашими у мачты.

Первый — рослый, в кольчуге, ятаган в правой, левой держал Сизого за горло. Я ударил сзади. Сабля вошла под затылок, туда, где шлем не прикрыл. Хруст. Ятаган выпал. Турок рухнул лицом вперёд, увлекая Сизого за собой. Сизый отпихнул тело, хрипя, поднялся.

Второй обернулся — молодой, борода редкая, глаза бешеные. Замахнулся ятаганом. Я не успевал отбить — просто шагнул вперёд, вплотную, и всадил саблю в живот. Под рёбра, наискось. Он выдохнул мне в лицо — кисло, горячо. Рухнул на колени. Я выдернул клинок. Кровь хлынула на палубу.

Вдалеке грохнуло. Ещё раз. Чайки! По нашим чайкам били из пушек. Огненные вспышки в тумане, щепки вверх, крики. Кто-то звал на помощь. Кто-то уже не звал.

— Уплывать надо! — Ермила выстрелил в упор в турка, тот отлетел к борту. — Все к чайкам!

— Куда уплывать?! — бросил я, отбивая чей-то удар. — Вырежем их. Корабль заберём.

— Там крепость у них, кого ты заберёшь?! — крикнул казак с кормы. — Валить надо!

«Не, не, не, не».

Я обернулся. Характерник стоял у борта, уже на краю. Смотрел на меня.

— Ты сказал — каждый получит то, что хочет! — крикнул я ему.

— Да, — ответил он и шагнул вниз, в чайку.

Пушки ударили снова. Ядро прошло над головой, снесло край мачты, щепки брызнули в стороны. Казаки прыгали за борт, ловили канаты. Раненые ползли к краю. Турки наседали. Крики, выстрелы, звон. И кровь на палубе.

Я осмотрелся.

«Ни бочек, ни сундуков».

Увидел трюм. Бросился туда. В спину кричали.

Ворвался внутрь.

В трюме темно, только свет через решётку люка — полосами, по доскам. Пахло деревом, пряностями, крысиным дерьмом. Я шарил глазами. Мешки, бочки — пустые, с солониной, с пшеном. Не то. Дальше.

Комнатка. Низкая, дверь нараспашку. Я заглянул. На полке — рулоны ткани. Шёлк. Синий, красный, золотой. Сверкал в полутьме. Я схватил один, скомкал, сунул за пазуху. Мало. Развернул ещё, оторвал полосу, запихал в штаны — в левую, в правую. Ткань скользила, путалась. Мешка нет. Унести не в чем.

Сзади шаги. Я обернулся. Турок — без доспеха, в одной рубаше, ятаган наголо. Молодой, тощий. Кинулся с криком. Я рубанул снизу — по ногам. Лезвие хрустнуло по кости. Он упал, заорал. Я добил в шею. Затих.

Выстрелы усилились. Где-то наверху кричали, топали. Пушка ударила совсем близко — корабль качнуло.

«Не туда, наверное, полез. Где же добро хранят».

И тут увидел. Дверь. Резная, с замком. Расписная — синее с золотом, как на иконах. Не для солонины дверь.

«Вот тут точно будет».

Подбежал. Замахнулся саблей, чтобы сбить замок. Сбоку тень. Резко, молча. Я развернулся, ударил наотмашь. Клинок вошёл легко. Женщина. В возрасте. Платок сбился, седые волосы. Нож в руке — не на меня, просто держала. Оседала по стене, кровь текла по груди, по пальцам. Глаза чёрные, удивлённые. Умирала.

«Некогда. Нekoгда».

Я выхватил пистоль. Приставил к замку. Выстрел. Дверь дрогнула, замок снесло. Выбил ногой.

Комната, жилая. На полу — ковёр, пушистый, с узорами, каких я никогда не видел: птицы, цветы, золотые нити. На стенах — ткани, расшитые бисером. Фонарь под потолком покачивался, бросал жёлтые блики. Пахло цветами — сладко, едко, так что в носу свербело.

Я огляделся. На столике у стены — платье женское, шёлковое, синее с серебром. Рядом — шкатулка. Открытая. Я залез рукой — холодное, гладкое. Кольца, серьги, монисто с камнями. Загрёб всё в горсть.

Стол. На нём — ткань, шёлковая, тонкая, как паутина. Я схватил её, расстелил прямо на ковре. Высыпал драгоценности. Добавил то, что за пазухой. Сверху ещё горсть из шкатулки. Корабль качнуло — я упёрся рукой в стену. Руки тряслись. Пальцы не слушались. Я то и дело глядел на дверь.

Завязал узел. Сунул за пазуху. Встал.

Движение.

Я развернулся. Пистоль в руке, курок взведён. За занавеской — тень. Шагнул, отдёргнул ткань.

Девушка. Юная. Стояла, вжавшись в угол. Ночнушка тонкая, белая, кружева у горла — дорогая, как у боярышни. Волосы чёрные, рассыпаны по плечам. Глаза — миндаль, тёмные, влажные. Губы дрожали. Кожа смуглая, чистая, как сливки с мёдом. Смотрела на меня. Дышала часто-часто.

Корабль качнуло снова. Где-то наверху грохнуло. Я стоял, как дурак, с набитым за пазуху шёлком, в крови, с пистолем в руке.

«Красивая какая. Я не видел таких ещё. Что за порода... И смотрит в глаза, не боится, не кричит».

Дверь распахнулась. Влетели двое янычар — те, что с палубы. Увидели меня, девушку, вскинули ятаганы.

Я взял девушку за руку. Тонкую, тёплую. Притянул к себе. Пистоль приставил к виску — к чёрным волосам, к белому кружеву. Она не визгнула. Только задышала чаще.

— Убью к чёртовой матери! А ну пошли отсюда!

Янычары переглянулись.

«Прости, Господи. Как такую красоту убить-то можно».

— Бирак кызы! — крикнул первый. — Бу паша Мехмед кызы! Йокса сени парчалар ве кёпеклере атырыз!

— Ты, видимо, меня не понял, — я повёл стволом в угол. — Пошёл отсюда!

Янычары выпучили глаза. Медленно, шаг за шагом, отошли к стене. Ятаганы не опустили, но и не лезли.

Я двинулся к двери, девушка со мной. Шла покорно, вспотела. Рука тёплая, тонкая. Как же её волосы пахли. Я вёл её перед собой, пистоль у виска. Шаг. Ещё шаг. Янычары провожали глазами.

Три залпа вдали. Один за другим — будто гром по воде. Корабль качнуло сильнее. Меня откинуло в стену. Удар — в спине хрустнуло. Девушка упала, вскрикнула. Пистоль вылетел из руки, покатился по ковру.

Янычар бросился на меня. Ятаган занесён. Я вскинул пистоль, что был за поясом — второй, заряженный. Нажал на курок. Выстрел в упор. Лицо разорвало — кровь, кость, ошмётки. Забрызгало стены, ковёр, меня, девушку. Она закричала — тонко, пронзительно.

Второй поднимался. Я выхватил саблю. Он замахнулся ятаганом — я рубанул навстречу, по руке. Лезвие вошло в запястье. Ятаган выпал. Турок упал на колени, зажимая рану. Глаза белые от боли. Я воткнул саблю ему в шею — сбоку, под ухо. Лезвие застряло в кости. Оттолкнул ногой. Тело рухнуло на ковёр.

Девушка сидела у стены. Вся в крови — чужой. Ночнушка прилипла к телу. Глаза расширены. Кричала и кричала. Я поднял пистоль, сунул за пояс. Саблю выдернул из шеи турка. Корабль кренился.

— Катиль! Катиль! Катиль! — она кричала, захлёбываясь. — Катиль!

Я взял её за руку. Тонкую, тёплую, в чужой крови.

— Принцесса, иди со мной по-хорошему, хорошо?

Она развернулась — и вlepила мне пощёчину. Звонкую, хлёткую, как плеть. Голова дёрнулась. В ухе зазвенело. Серьга качнулась.

— Докўнма банá, Рўс дóмузу! — глаза её стали твёрдыми, сухими. Ни следа страха. Голос властный, как у мурзы перед боем. Она ткнула пальцем мне в грудь. — Сэни асáджаклár! Бабáм сэнин кéллени казы́га отўртаджак!

Я утёр щёку.

— Ты только что орала как курица! — я взял её за руку, поднял. — Идёшь со мной, не пытайся вырваться, а то свяжу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.